


Татьяна Соломатина

# Община Св. Георгия

роман-сериал



18+

 ЕНИКС

Татьяна Соломатина  
**Община Святого Георгия**

«Автор»

2019

**Соломатина Т. Ю.**

Община Святого Георгия / Т. Ю. Соломатина — «Автор», 2019

ISBN 978-5-222-33287-0

Российская империя. Завершилась революция 1905 года, Русско-японская война окончилась заключением позорного Портсмутского договора. Доктор медицины княгиня Вера Данзайр вернулась с фронта русско-японской кампании. Александр Белозерский, единственный наследник «императора кондитеров», служит ординатором сверх штата университетской клиники «Община Св. Георгия». Она старше его на десять лет и на целую жизнь. История любви, история русской медицины, история России. История любви к России. История чести и долга. История о том, как оставаться человеком. Всегда всего лишь оставаться настоящим человеком. Начало истории двадцатого века.

ISBN 978-5-222-33287-0

© Соломатина Т. Ю., 2019

© Автор, 2019

# Содержание

Глава I	6
Глава II	10
Глава III	14
Глава IV	16
Глава V	32
Глава VI	36
Глава VII	46
Глава VIII	49
Глава IX	54
Глава X	63
Конец ознакомительного фрагмента.	66

**Татьяна Юрьевна Соломатина**  
**Община Св. Георгия**  
*Роман-сериал. Первый сезон*

© Соломатина Т. Ю., текст, 2020

© Камаев В. В., дизайн обложки, 2020

© ООО «Феникс», оформление, 2020

*Мнение автора может не совпадать с мнением издательства. Текст, книги не направлен на характеристику отдельных лиц или групп лиц, объединенных по профессиональному или какому бы то ни было признаку, а также не содержит призывов к противоправным действиям.*

*Все действующие лица – выдуманы, все события – реальны.*

## Глава I

Александр Николаевич Белозерский был молод, красив, умен, богат и в совершенной степени несчастен. Подобное часто случается с мыслящими молодыми людьми, когда к промежуточноитоговым двадцати пяти годам они не совершили ничего великого или хотя бы выдающегося.

На войну Сашу не пускал отец. Сын, конечно же, не слушал и хотел пойти добровольцем, но его не взяли, поворошив бумаги. Там, поди, было привнесено дополнение от всеильного батюшки, чтоб ему! И смотрели на Александра Николаевича без должного уважения к его храбрости, если не сказать: с насмешкой. На эту великую войну, войну нового типа, шли даже девочки из Женского медицинского института. А он, один из лучших выпускников Императорской военно-медицинской академии, стал трусом поневоле! Точнее, по воле отца! И этого уже никак не исправить, потому что заключён проклятый мир!

О, конечно же, куда ж нам без мира, в тиски которого Россию заключил Сергей Юльевич Витте, женатый на иудейке, Матильде Исааковне Нурок! Ах, простите, Марии Ивановне Лисаневич! Кругом выкресты! И эта дамочка, к которой протягивалось много рук с предложением опереться, выбрала сильнейшего, чем нимало не смущалась. И ни Лисаневич, ни Витте несколько числом оных рук не смущались. Слаженным хором досточтимых мужей все славят женскую чистоту, а *solo* вожделеют и с хрюканьем вкушают помойную порочность. Покинутый благоверный двадцать тысяч рублей отступных получил, не забруснявел! «Кот» продал проститутку в жёны государственному деятелю, каково?! Хорошо хоть новоиспечённую супругу Витте ко двору не приняли. Ей что до того? Толку от хождений ко двору, когда она влияет на государственные дела в своём алькове, блудливо вертя министром как того пожелает спрут Ротшильдов! Не зря Витте хотел отдать весь Сахалин! Смел спорить с государем! И в результате это ничтожество за государственную измену пожалован графским достоинством! Граф Полусахалинский, ха-ха! Так что Сергею Юльевичу Витте – ликторский пук и оливковую ветвь, а Александру Николаевичу Белозерскому – кукиш с постным маслом и дырку от бублика!

Саша Белозерский не краснел, ставя себя на одну ступень с Председателем Совета Министров Российской империи. Честолюбие и амбиции клокотали в нём. Эта война должна была его прославить! Вознести на вершины! Это его отчёт должен был прогреметь по всей России, а вовсе не ещё одной взбалмошной бабёнки, все газетные и журнальные вырезки о которой он, признаться честно, трепетно собирал в отдельную папку и был заочно в дамочку влюблён, хотя на фотографиях она была видом свирепа и до неприличия широкоплеча.

Александр Николаевич был принципиально недоволен тем, как государь реализует Большую Азиатскую программу. И, признаться, он был не одинок в недовольстве. Программа императора Николая II вызывала крайнее раздражение у правящих кругов США и Великобритании, имевших виды на Дальний Восток и Китай. Саша мало что понимал в предпосылках, причинах и поводах Русско-японской войны, но мнение, разумеется, имел. То есть вёл себя ровно так, как та самая «лимфатическая интеллигенция», над которой Александр Белозерский, хирург-ординатор сверх штата клиники «Община Св. Георгия», человек дела и ремесла, не раз потешался.

Он был уверен, что слишком мягкий государь, слишком хитрый Витте и слишком распоясавшийся президент североамериканских Штатов Теодор Рузвельт – лично несут ответственность за то, что Александр Николаевич Белозерский не покрыл себя славой. Они и, конечно же, папенька, Николай Александрович Белозерский, «император кондитеров», отсекавший ему всякую возможность участия в подвигах Красного Креста, а равно и подвижных передовых дворянских отрядов. Из-за чего Сашенька устроил родителю безобразный скандал и отправился оплакивать заключение мира в то место, где ему были неизменно рады... В публичный дом.

Что не мешало ему обвинять графа Витте в покупке супруги. Если бы ему указали на столь очевидное противоречие, он бы ответил, что честно покупает девок в разрешённом законом месте, где ими честно торгуют, в любовь с ними не играет и к решению государственных дел не привлекает. Его интересует только их тело ровно на время, необходимое для удовлетворения одного интереса. Расплатился и забыл. И занялся делом.

Заведение было очень хорошее. Даже отличное. Какое и пристало единственному наследнику одного из крупнейших состояний империи. С девочками здесь обращались исключительно заботливо. Хозяйка заведения никогда не препятствовала тем, кто решал выйти из занятия. Напротив, всеми силами способствовала, ежели какая питомица хотела работать или же учиться. Но таких, как правило, не находилось. Пределом их мечтаний, а точнее сказать: единственной на всех грёзой – было выйти замуж за богача, благо их в заведении кружило немало, и продолжить запивать эклеры шампанским, но уже на правах законной супруги.

С фантазиями на непрофессиональных нивах у вакханок было довольно скудно. И хотя многие из них неплохо поддавались обучению учительскому или же сестринскому делу, которое им оплачивала хозяйка, все они, пройдя курс, возвращались в родной публичный дом. Этот феномен когда-то давно рвал душу хозяйке, а затем она смирилась, как все мы рано или поздно смиряемся с тем, чего не в силах изменить. Смиряемся, даже не приобретя мудрости, потому что чаще всего смирение – это просто смирение, и никакой мудрости оно не требует. К теме смирения, проституции и смирения с проституцией придётся ещё не раз обратиться, ибо иная жизнь и есть или проституция, или смирение с оной. В самых разнообразных смыслах, не исключая буквальных.

С тех самых пор, как Сашу Белозерского впервые привели сюда, он дружил с хозяйкой, испытывавшей к нему тёплые дружеские чувства, до невероятности похожие на материнские.

Саша накануне так оплакивал своё горе, так упивался отчаянием по заключённому миру, что, открыв глаза, даже не сразу сообразил, где он. Жестокая засуха во рту, возникающая от чрезмерных возлияний шампанских вин, приводящих к дегидратации, напомнила ему о трагедии. И заставила потянуться к графину, стоящему на credenце. Он жадно глотал живую воду, и сердце стало колотиться в унисон с каким-то странным ритмичным звуком... Часы! Он посмотрел на большие каминные часы, показывавшие половину девятого!

– Чёрт!

Саша вскочил и стал впопыхах натягивать предметы туалета, разбросанные в самых неожиданных местах, отшвыривая кружевные панталоны и корсеты.

– Заполошный! – сонно пробормотала Клёпа и перевернулась на другой бок, не потрудившись открыть глаза.

Саша кинул на постель несколько купюр сверх положенного – Клёпа была девушка весёлая и занимательная, – и, схватив докторский саквояж, вынесся из комнаты, сбежал по лестнице и спешно выскочил из заведения. Благо поутру здесь всегда дежурили извозчики. Александра Николаевича знали хорошо, любили за щедрые чаевые и не упускали случая побеседовать о политике и экономике. Но сегодня попался ворчливый Авдей, к нему не расположенный. И ни к кому вообще! Довольно распространены на Руси такие мужики, неподвластные ни кнуту, ни прянику, ни самому обворожительному обаянию. Будто вытесали их из лиственницы, отменно просмолили, и не сдаются они ни времени, ни тлену, ни мзде, ни узде.

Авдей с ветерком доставил Александра Николаевича к парадной аллее университетской клиники. Белозерский выскочил из пролётки, и лишь пробежав несколько шагов, сообразил, что забыл рассчитаться. Хлопнув себя по лбу, он немедленно развернулся и, смеясь, подлетел к Авдею, на ходу доставая портмоне.

– Ты чего ж не окликнул?! – добродушно поинтересовался он, протягивая ассигнацию.

– Сдачи не наберу! – глухо пророкотал Авдей, теребя денежный билет.

– Оставь! – отмахнулся Саша и понёсся на всех парах в клинику.

– Оно, конечно, – продолжал не тише и не громче, а ровно так, как всегда, Авдей, запрятывая билет за пазуху. – Легко швыряться, когда не сам заработал. Когда сам – цену деньгам знаешь!

Авдей ласково тронул лошадку. И животина мягко пошла, довольно фыркнув, будто перекинувшись с хозяином не то шуткой, не то парой слов. В отличие от людей, к которым Авдей не испытывал ничего, лошадей и прочих тварей он любил. Любил настолько трепетно, что открой он кому свою любовь – удивление было бы не меньшим, нежели узнать, что мостовая листовничная опора по утрам крошит булку голубям. Собственно, так же, как к неразумным созданиям Божиим, Авдей относился к девицам из заведения. Он жалел их со всем трагическим надрывом простого доброго русского мужика, которому рвёт душу уестественность скота человеками. Авдей был немолод. Ещё совсем мальчишкой он принимал участие в Урыс-Адыгэ зауэ, затяжной русско-черкесской войне, перед самым её окончанием. И как-то стал свидетелем непотребства. Черкес, его ровесник, делал то, что полагается мужу делать с женой, с ничего не понимающей, отчаянно блеющей овцой. И хотя родился и вырос Авдей в Таврической губернии, славной, в том числе, и овцеводством, и знал, что овца предназначена для человека, но проткнул он казачьей пикой именно человека. А затем проткнул и овцу. И закопал невинное существо, обливаясь слезами и бормоча молитву. Почему-то не мог оставить так. Предавал земле яростно, будто сражался с твердью за то, что такое бывает. И даже крест соорудил. Овце. С тех пор никогда и не плакал. И до того не плакал, разве совсем маленьким, он не помнил. Несмышлёныши все плачут, пока не забывают что-то надмирное, подрастая.

Все девицы заведения вызывали в Авдее такой же мучительный надрыв. И будь его воля, он бы всех их проткнул пикой и предал земле, чтобы не мучились. А всех чистеньких господ, что их пользуют, оставил бы валяться падалью, как он оставил черкеса, в назидание и стервятникам на прокорм. Но не кружили над Петербургом стервятники, господа были своей веры, а овцы-девицы не блеяли, а хохотали, издавали непристойные звуки и в целом вели себя самым скотским образом: по-человечески. Но душу Авдея осознание и принятие этого не латало, так и жил он – ранами наружу. Только боли его никто не замечал. Кроме лошадей, собак, котов да всяких птах, что любят поклевать, в особенности по холодку, согревающий и питающий конский навоз.

В клинике уже начался профессорский обход, и Александр Николаевич, оправляя накрахмаленный халат, нёсся по коридору. Опаздывать на профессорский обход – высшая степень неуважения, и никоим образом не характеризует опаздывающего положительно. Но, во-первых, у Александра Николаевича была уважительная причина: он страдал! Разумеется, ординатор достаточно воспитан, чтобы не посвящать в это профессора. А во-вторых, профессор испытывает к Александру Николаевичу расположение, которым тот ни в коем случае не смеет злоупотреблять. В-третьих, ординатор Белозерский опаздывает первый раз. В принципе, он отлично характеризуемый всеми молодой человек!

Саша Белозерский действительно не понимал, что его могут не любить. У него в голове не уложилось бы, скажи ему кто, что иные товарищи по службе, однокорытники, знакомые и совершенно незнакомые с ним люди могут хотя бы и никак к нему не относиться, не ставя его в известность о факте их губительного для него равнодушия. Или того хуже – он может быть неприятен. Просто так, ни за что! Или именно за то, что он так вызывающе молод, отвратительно красив, весьма умён, а что ещё гаже – невероятно щедро одарён! За то, что он по рождению богат. И за то ещё, что принимает любовь к себе как должное. Как лёгкие – воздух, как органы – кровь, как принимает ласку котёнок – с полнейшим неосознанным, но изначально торжествующим правом.

Однажды ночью в дымину пьяный Белозерский, выйдя из заведения, подобрал помёт котят, тыкавшихся в грядку уже задубевших молочных желёз трупики матери-кошки. Любовно запрятал отчаянно пищащих несмышлёнышей под лацкан дорогого сюртука, свистнул Авдея и,

протянув ему двугривенный, попросил поступить с коченеющим трупиком по-божески. Авдей пророкотал:

– Вы их куда?!

– Так к себе, на кухню! И папеньке на заводах не лишние! Только выкормлю, пока молочные. А там уж пристрою, не изволь беспокоиться! Кому их мамка мешала?! – прижав котят, Белозерский, шмыгнув носом, перекрестился.

Цепкий Авдей приметил, что на ресницах барчука сверкнула слеза. Пусть хмельная, но человеческая! Не пьяная, грязная, скотская. Добрая, чистая, людская.

Решительным жестом отвергнув плату, Авдей буркнул:

– Всё устрою в лучшем виде, барин!

Авдей редко кого именовал барином. Он в принципе был неразговорчив, так что на него мало кто из господ имел возможность обижаться. Но с тех пор Авдей уважительно определил для себя Сашку Белозерского настоящим русским барином, просто пока молодым чертякой, чья бесовщина не опасна для тварного мира, а посему отныне Авдей ему не угроза, а оберег.

Путру после того случая под заведением всё по обыкновению сверкало прибранностью, ибо опрятный вид – свидетельство благочестия. Омрачило ту неделю разве что таинственное исчезновение залётного скоробогатого господинчика, бывшего в Петербурге по вопросам снабжения армии не то просроченной тушёной, не то некондиционной корпией, и почтившего присутствием бордель несколько раз кряду. Из заведения вышел – свидетельства были. Из гостиницы выезд положенным образом не оформил, да и вещи остались в номере. К хозяйке полиция приходила. Но она ничего не показала, да и не могла показать. В публичных домах не принято интересоваться делами господ. Разве отметила, что с девочками был жесток, но не фатально, в пределах допустимого по обоюдному согласию, смазанному щедрым пожертвованием сверх таксы за Клёпин фингал под глазом. Разошёлся во страстях, с кем не бывает. Господинчика поискали-поискали, да и списали как скрывшегося по экономическим соображениям. Таким, что любому понятны: аванс на поставки голубчик получил, а никакой тушёнки и корпии в армию так и не поставил. Кто бы не сбежал? Война на всём кресты ставит. Транссиб недостроен, какие там мелкооптовые поставки! Война империю разорила. Сгорел сарай, гори и хата!

## Глава II

Александр Николаевич Белозерский с шиком вылетел на середину палаты. Пока он бежал по аллее, пока нёсся по коридору, вся его меланхолия вдруг исчезла, испарилась, как высыхает мостовая после недолгого дождичка в солнечный день. Он вновь окрылился, ему хотелось свершений, благоденствия, и немедленно осчастливить хоть кого-нибудь, ибо зачем мы ещё в этом мире?! «Не жизнь, а масленица, только вот человеческого чего-то не хватает!» – думалось молодому ординатору. Ибо только великие свершения он полагал человеческими. Всё остальное, всю эту подлую буржуазность, русскую косность, эдакую слюнявую распущенность и прочую обывательщину он считал попросту какой-то слякотью!

И пока он мысленно громил экзистенциальную пустыню обыденности, в коей погрязли буквально все слои населения богоспасаемой Российской империи, ему и в голову не приходило, что один его сюртук цвета маренго, сшитый на заказ модным лондонским домом, стоил как два хороших коня, на которых перед людьми показаться не стыдно. Или как шесть отменных дойных коров. Или порядка одиннадцати средних зарплат квалифицированного рабочего. Но Саша не считал деньги мерилom счастья или же несчастья, и уж тем более славы или же её отсутствия. Он их попросту не считал, и всё тут! В отличие от его товарища по ординатуре, Дмитрия Петровича Концевича, считавшего каждую копейку (куда там рубль!) и точно ведавшего, сколько сегодня стоит фунт мяса, фунт томатов и фунт судака. И когда ему изредка хотелось побаловать себя виноградом кишмиш, он вспоминал, что пить ему тогда пустой чай без сахарного песка второго сорта и не мечтать о кусковом отборном рафинаде.

Саша Белозерский крайне удивился, если бы узнал о таком быте Мити Концевича, и непременно натащил бы ему и кишмиша, и рафинаду, и масла сливочного, и яиц отборных, и абрикосов в шоколаде, и мармеладу царского, и конфет «Утиные носы», и пастилы с компотом, и шоколаду «Зоология рыб», «Бабочки», «Ваниль», и удоборастворимого какао... Всего того, что в неисчислимом изобилии представлено в оптовом прейскуранте «Товарищества Белозерского сыновей», поставщиков Двора Его Императорского Величества. И не только. Не было ни одного дома – от роскошного особняка до простецкой избы, – в котором бы не были знакомы с продукцией кондитерского концерна, владельцем которого являлся батюшка Александра Николаевича Белозерского, Николай Александрович Белозерский.

Но Митя Концевич никогда бы не унился до того, чтобы жаловаться на свои затруднения. А Сашка Белозерский никогда бы не подумал, что кто-то хоть в чём-то испытывает нужду. Ибо объективный мир, как общеизвестно, не существует вне субъективного восприятия. И посему мир Александра Николаевича был населён исключительно сытыми и нарядными людьми, несмотря на то что он не был слеп и был отнюдь не глуп. И ещё во время учёбы столкнулся с массой человеческих страданий. Просто он был молод, красив, богат и в совершенной степени – в данный конкретный момент, – счастлив. В таковой же степени, в которой вчера был несчастлив. И жаждал чем-то воистину человеческим осчастливить всех. Или хотя бы какого-нибудь одного человека, нуждающегося в его человечности.

Чуть не пролетев на щегольских балморалах (стоимостью всего-то в месячное жалование учителя гимназии) мимо койки, у которой толпился профессорский консилиум, Александр Николаевич лихо притормозил, изящно всем поклонившись:

– Прошу прощения, глубокоуважаемый Алексей Фёдорович и уважаемые коллеги!

Профессор Хохлов не удостоил его даже взглядом. Этого было достаточно, чтобы в мгновение ока из океана счастья молодой ординатор рухнул в бездну отчаяния. Впрочем, на достижение небес Луны, обители соблюдающих долг – в концепции Рая «Божественной комедии», – хватило такого же временного промежутка. В организме Саши Белозерского плескалось такое количество внутренних секретов, творящих иллюзию всеислия и поступающих в ток крови

в момент выброса совсем иных секретов вовне, что он одновременно ощущал себя и могучим кондором, и крохотной колибри. Говорят, такой же эффект оказывает опий, но в мире довольно разрешённых отрав. Те же девки. И для здоровья полезней.

На измятом белье метался безногий пациент, коих во множестве поставила «война машин», пресловутая война нового типа, о неучастии в которой так горевал Александр Николаевич. Несчастный калека был в испарине. Изменённое состояние сознания, балансируя на тонкой грани, отделяющей реальность от бреда, свалилось в галлюцинацию. Шипела и рвалась шимоза, свистела шрапнель, и, вцепившись в ворот ординатора Концевича, мученик яростно выплёвывал ему в лицо:

– Ротный! Уводи людей за фанзы!

Сестра милосердия Ася, добрый, хотя и несколько бестолковый ангел университетской клиники, пыталась обработать окровавленные культы. С соседних коек с опасливым любопытством, но в большей мере с неизбывным состраданием, свойственным простому русскому мужику, на него поглядывали товарищи по несчастью. Несчастью в той или иной мере меньшему или же несоизмеримо большему. Лишь сострадание было константой в плотном смраде многокочной палаты, которую только и могли себе позволить те, кто является солью земли русской: солдаты. Вчера ещё бывшие крестьянами или рабочими, а теперь ставшие инвалидами. И различала их только степень и глубина инвалидизации.

Юные студенты медицинского факультета, так любящие бравировать детскими потугами на цинизм в разных «лигах любви», «свободных кружках» и «союзах», сейчас были бледны, как институтки, застигнутые за непотребным. Это были славные третьекурсники, ещё не сдавшие полуплекарский экзамен, впервые вышедшие из академических садов в клиническую степь. Их буквально парализовало.

И только профессор, великолепный Алексей Фёдорович Хохлов, сохранял спокойствие.

– Перед нами, коллеги, классическая фантомная боль, впервые описанная...

Он строго оглядел студентов. Они не могли произнести ни слова. Вряд ли от незнания, ибо в университетскую клинику шли лучшие. А ни одна светлая голова, ежели она действительно светлая, не манкирует академическим чтением и старой доброй зубрёжкой теории. Студенты онемели от ужаса столкновения с действительностью практики. Желая всего лишь разбавить стоны, наполнить это чудовищное соло боли словесной оркестровкой, Белозерский выкрикнул слишком весело и легкомысленно для того, кто действительно весел и легкомыслен:

– ...в тысячу пятьсот пятьдесят втором году отцом военной медицины Амбразом Паре!

После чего Александр Белозерский достал из кармана медицинский несессер, свою собственную и любимую бесполезную игрушку. Хохлов нахмурился. И его выкрику. И тому, что его любимчик собирался сделать. Нахмурился, но не окоротил.

– Вот! Надо знать! – строго заметил он окаменевшим студентам.

Концевич наклонился к Асе и прошептал:

– Наша выскочка и здесь поспел! Студентов спрашивали, не его.

Ася хотела было ответить что-то в меру едкое (что не было её сильной стороной) и дозировано строгое (в чём она тоже не блистала) или хотя бы соответствующее (и в этом она была не слишком хороша в подобных контекстах), но не нашлась, и посему просто промолчала. К тому же её со страдальческим рыком оттолкнул несчастный пациент, вернувшийся из окопов в мирное время:

– Изверги! Мочи нет! Да сделайте что-нибудь! Хоть пристрелите!

Ася – тонкая до прозрачности – отлетела в сторону. Концевич бросился ей на помощь. Белозерский, ловко собравший шприц и наполнивший его морфием, уже вводил благодатный яд пациенту под неодобрительным взглядом Хохлова. Чтобы хоть как-то отшутиться, потому как серьёзного профессорского неодобрения Саша не в силах был вынести, он снова слишком весело и легкомысленно воскликнул:

– Да будет вам известно, Белозерские – известные филантропы! Купечество угощает!  
– Не может без помпы! – буркнул Асе Концевич.

– Благодарю вас! – холодно изрекла сестра милосердия и бросилась к пациенту, который затихал на игле, получив благодать мощнейшего обезболивания.

– Увы, господа! – обратился Алексей Фёдорович к студентам, оживавшим по мере того, как буря страдания утихала, сменяясь рябью наркотического сна. – Болевой синдром при фантомных болях зачастую ничем не купируется. И приводит к самоповреждениям, кои мы наблюдаем, – он кивнул на изрезанные ножом культы, – и к алкоголизму. У нижних чинов. У чинов верхних – к опиомании и морфинизму!

И Алексей Фёдорович свирепо глянул на ординатора.

Пожав плечами, Александр Николаевич обратился к студентам. Как ординатору ему было позволено читать им нотации, давая разъяснения и без того очевидные:

– «Казёнка» и хлебное вино дешевле алкалоидов *Papaver somniferum*<sup>1</sup>.

– И на какие шиши нищий безногий инвалид будет приобретать зелье, к которому вы его так любезно собираетесь приохотить по безмерной доброте, Александр Николаевич?!

Профессор злобно уставился на одного из лучших своих учеников, выставив указующий перст в направлении крепко забывшегося пациента. В ответ Саша безвинно заморгал. Хохлов, махнув рукой, прошипел:

– Мальчишка!

И решительно двинулся к следующей койке, окликнув Концевича:

– Дмитрий Петрович!

Концевич, Белозерский и студенты поспешили за профессором. Замешкалась только Ася. Она, наконец, толково наложила повязки – в этом она была великолепна! – на раны культей затихшему страдальцу. И никак не могла от него отойти, поправляя то одеяло, то подушку и украдкой смаргивая слёзы. Дмитрий Петрович уже докладывал следующего пациента, а профессор никак не мог оторвать взгляда от милой Аси, понимая, что с такой кожей, которая никак не дубится, надо или что-то делать, или... Мысль его дальше не шла, и мудрый Хохлов злился на себя.

– Прооперирован накануне на предмет нагноения инкапсулированной шрапнели...

Концевич выдержал красноречивую паузу, ожидая, что Ася вспомнит об обязанностях сестры милосердия и откинёт одеяло, дабы господа врачи и студенты могли осмотреть предмет доклада. Ася не реагировала.

– Анна Львовна! – чуть добавил сердитого докторства Дмитрий Петрович.

Пациент от такого тона по-солдатски выпрямился под одеялом по стойке «смирно». Профессор застыл с выражением: «Чёрт бы вас всех побрал с вашими субординациями! И, главное, я не вправа...» Пока длилась сия пантомима должностных обязанностей и профессиональной этики, Александр Николаевич запросто откинул одеяло, обнажив прооперированное бедро.

– Как тут у нас дела? – ласково обратился единственный наследник миллионного состояния к простому мужику.

Тут уж профессора прорвало. Прорвало, как это и положено, на тех, на кого позволено прорваться, коли ты профессор, – на студентов.

– Вы, господа, что?! Себя расплескать боитесь, куда сестра милосердия другим пациентом занята?!

Гневался Хохлов, конечно же, на ординаторов. На молодого, счастливого, талантливого, полного жизни дурака Белозерского. На не менее молодого, но уже куда более житейски опытного и какого-то надорванного, хотя и небесталанного, холодного Концевича. На Асю, с её чрезмерной увлечённостью каждой болью. На себя – за невозможность изменить ничего, куда

---

<sup>1</sup> Мак снотворный (лат.).

уж мир, который он так хотел изменить в молодости. Он гневался на кого угодно, кроме этих чудесных щенков-студентов, лучших на курсе – Нилова, Астахова и Порудоминского. Но накричал он именно на них.

Мир в принципе несправедлив. И неизвестно, что с этим делать. Скорее всего – ничего. Возможно, несправедливость мира является несущей, основополагающей тканью его конструкции. Возможно, несправедливость – это печень мирового устройства. Пока она есть – болит, беспокоит, ноет. Убери печень – не станет и мира. Не станет его субъективной реальности, вне которой мир, собственно, и не существует. Или как минимум – становится несущественен. Для индивида без печени – уж так точно!

## Глава III

Вуниверситетской клинике шёл обход, где-то плавил металл, мели улицу, готовили обед, доили корову, кто-то любил, кто-то умирал – совершалась обыкновенная жизнь города и всех населяющих его форменных элементов – жителей.

На Набережной царило оживление, представленное в самом широком спектре. Кто-то неистово выражал радость. В иных речах горчил сарказм. Восхвалений и осуждений заключённого мира присутствовало в равной степени, как и положено для сохранения той субстанции, что великие умы называют гармонией. В истинно питерском нервном ропоте толпы, состоящем всё больше из скрипучих голосов, вдруг неуместно разливался московский мелодичный весёлый смех, уравнивая какофонию. Звучание напоминало фантазию для симфонического оркестра Модеста Петровича Мусоргского «Ночь на Лысой горе», воистину по-русски самобытного произведения, за которое, по собственному признанию композитора, его бы выгнали из консерватории, не будь он признанным мэтром к моменту написания. «Ведьмы сплетничали, шашничали и поджидали набольшего... В сущности, шабаш начинается с появления бесенят...»

В толпе тут и там носились мальчишки-газетчики.

– В Портсмуте заключён мирный договор!

– Граф Витте подписал с японцами мирный договор!

– Дяденька! Государь лично давал инструкции графу Витте, купите газету!

– Тётенька, по-цумасу-дзё-яку! Плансон-Набоков-Витте-Розен-Коростовец-Адати-Отитай-Комура-Такахира-Сато!

Речитативу «чертенят» позавидовал бы сам Фёдор Иванович Шалапин.

Стройный высокий молодой человек военной выправки, которую не могло скрыть гражданское платье, ловко швырнул газетчику монету, получив не менее искусную моментальную подачу газеты. Мальчишка лишь на мгновение заглянул в лицо молодого человека, но тут же отвлёкся на следующего потенциального покупателя, вцепившись тому в рукав и яростно выкрикнув:

– Несмотря на договор, японцы не выводят войска из Маньчжурии! И не намерены!

Монета, кинутая в обмен на газету, казалась надёжной гарантией выполнения условий договора. Будто господинчик сам вложил в вывод японских войск. Малец был невероятно сметлив.

Молодой человек военной выправки, не без интереса наблюдавший за этой короткой сценкой, усмехнулся и пошёл дальше, помахивая газетой. Для мужчины он был слишком поженски хорош собой. У него были изящные ладони с тонкими длинными пальцами. Впрочем, возможно, Оскар Уайльд нашёл бы молодого человека красивым не слишком, а ровно настолько, насколько и должно. Хотя нос у молодого человека был более изящным, чем у «златокудрого мальчика», лорда Альфреда Дугласа.

Внимание молодого человека привлёк безногий инвалид. Ничего необыкновенного в калеке не было. Низкая ампутация обеих ног, случилось и похуже. Но полное кавалерство Георгиевских крестов?! У нищего все четыре выстроились на груди по уставу. Да, Русско-японская война осыпала крестами, как ни одна прежде. Но тем не менее с 1856 года по сей день полных кавалеров не набралось бы и двух тысяч. Цифра ничтожная, учитывая количество солдат в империи. Если, конечно, награды не украденные и не поддельные. Что-то казалось смутно знакомым в лице христарадничающего. Хотя все солдаты, унтеры и офицеры казались ему знакомыми. И довольно близко. Можно сказать, изнутри.

Подойдя к нищему кавалеру всего Георгия, сидевшему с отрешённым безразличным выражением, молодой человек достал из внутреннего кармана портмоне и коробку папирос. На

банковские билеты попрошайка – если можно так назвать человека, всем своим видом демонстрировавшего, что не намерен унижаться до просьб, – взгляда не бросил, жадно уставившись на папиросы. Молодой человек вынул две. Одну сунул за ухо под шляпу, другую зажал между зубами, коробку же почти полную и деньги положил на ящик, стоящий перед калекой. Тот мигом схватил папиросы, вытащил одну, коробка же исчезла в надёжное потайное место. С одобрением глянув на эдакую ловкость рук, молодой человек достал коробок, чиркнул спичкой и поднёс нищему прикурить, держа огонёк в плотно сомкнутых ладонях.

Серый питерский день был по обыкновению уныл и ветрен. Казалось, шёл мелкий плюгавый дождик, хотя он вовсе и не шёл, но будто только что был или вот-вот собирается. Окунув лицо в ладони молодого человека, инвалид прикурил, с наслаждением затянулся и блаженно откинулся, выдыхая дым. И с искренней человеческой благодарностью, безо всякой надменной позы, которая, судя по всему, уже крепко пустила корни в его искалеченной натуре, просто произнёс:

– Спаси тебя Бог!..

Пристально глянув в лицо молодого человека, чуть не охнув, продолжил через запинку:

– Барин!

Молодой человек, подмигнув калекке, продолжил свой путь.

– Не ты ли под Сяочиньтидзы... – прошептал вслед полный георгиевский кавалер.

К нему подбежал мальчишка-газетчик.

– Дядь Георгий, деньжищ-то прорва, спрячь!

Но в голове Георгия вдруг предвестником персонального апокалипсиса зашипела шимоза, и в следующее мгновение адская боль разорвала то, чего уже никак не могла разорвать. Побелев, Георгий схватил мускулистыми руками несчастные культы и с размаху шваркнул о мостовую. Тирада сквернословия, которой позавидовал бы и ведьмовский шабаш, и сам Satan, рассыпалась по бульжнику, распугивая опрятных либералов, почтенных ура-патриотов и прочую мелкую и среднюю прихорошившуюся нечисть.

Мальчишка-газетчик припрятал денежки и выудил из нищенского скарба офицерскую флягу с казённым вином. Георгий, промокнувший от пота в мгновение, будто его окатили из ведра,пил водку словно воду, разве что она единственная могла погасить чудовищный огонь, полыхавший там, где ничего не было. Там, где давно не было его ступней, что сгнили, склёваны, истлели на сопках Маньчжурии, в грязи чужбины.

– Да как же это, дьявол?! – стёсывая зубы, ревел Георгий в тощие воробьиные рёбра мальчишки-газетчика, ласково обнявшего его голову. – Нет же их! И будто снова и снова!

Он зашёлся в по-детски бессильной истерике, в безысходности горя. И строгий городского, стоящий в клеёчатом колпаке и накидке по случаю всё-таки морозящего мелкого осеннего дождика, со всей суровостью делал вид, что на лицо вдруг упали крупные капли. Он даже откинул колпак для пущей убедительности. И свирепая физиономия его представляла надёжный щит для несчастных двоих – калеки и сироты. Чистая публика не слыхала, как в мозгу у городского громко сверлили триоли, как визжали хроматизированные пассажи, как угловато пёрли в низком регистре диссонансы, готовясь к взлёту демонического ми-бемоля. Как старый учитель музыкальной литературы сухим речитативом цитировал Мусоргского: «Характер шабаша именно таков, то есть разбросанный в постоянной переключке, до окончательного переплетения всей ведовской сволочи!»

## Глава IV

Профессор Хохлов широко шагал по коридору клиники.

Алексей Фёдорович всегда шагал широко, и по широте шага можно было точно определить его настроение. Сейчас он был со всей очевидностью не в радужном расположении духа, так что едва поспевающим за ним студентам приходилось местами прискакивать, а сестре милосердия Асе и вовсе переходить на рысь. Лишь Белозерский не отставал от любимого учителя, потому как мог беспокоить божество в любую погоду, не опасаясь прямого попадания молнии. А гром, как известно тем, кто знаком с физикой Краевича, не убивает. Но Сашка на всякий случай лебезил. И у шельмеца получалось настолько искренне и обаятельно, как получается только у добрых, хотя и балованных детей.

– Профессор, я...

Алексей Фёдорович лихо затормозил, по-военному чётко развернувшись кругом и оказавшись нос к носу с Сашкой. Процессия по инерции упёрлась в профессорскую спину.

– Ты понимаешь, что эта гадость – не выход! – отчеканил он, указывая в сторону палат. – Или вы благотворительную опийную курительню на дому желаете обустроить? Со всеми удобствами? Не убоившись, так сказать, расходов, а главное – Уложения об уголовных наказаниях!

– Что же выход?! – так беспомощно и с таким состраданием к мученикам было это произнесено, что профессор немедленно сменил гнев на милость. Поморщась досадливо, как от невозможности объяснить любимому дитяти, почему в мире существуют боль, горечь и разочарования, отчего же добрый боженька так всё устроил, если он действительно добрый и даже всемогущий, как внушают ему с младенчества, учитель только тихо спросил:

– Сам хоть делетериум<sup>2</sup> не пользуешь?

– Господь с вами, Алексей Фёдорович! Зачем?!

Профессор махнул рукой и продолжил широко шагать, мысля, что необходимо сострять иную жестикуляцию для выражения беспомощности, отчаяния и прочей риторики, из которой большей частью и составлена чёртова жизнь. Процессия не отставала, но к кабинету Алексей Фёдорович дошагал довольно скоро, так и не успев сочинить элегантный жест. Распахнув двери и увидав нечто такое, что заставило его немедленно захлопнуть створ, профессор прильнул спиной к полотну, хотя никто бы не рискнул зайти без приглашения. Белозерский снова-здорово впечатался в профессора, а вся процессия – в спину Александра Николаевича. Алексей Фёдорович махнул рукой, тут же мысленно обругав себя «мельницей»:

– Иди отсюда! Идите! Все идите! Вы! – обратился он к ординаторам. – Проведите со студентами занятие по десмургии. Чтобы у гнойных коек носы не кривили, скидывая всё на сестру милосердия. И самим нелишне будет отточить искусство! Уж я вам устрою экзамен! Пошли, быстро! Белоручки!

Процессия немедленно развернулась и понеслась по коридору обратно – в сторону палат. Прежде возглавлявший ход Белозерский оказался в арьергарде и не без любопытства оглядывался на двери кабинета, в которые против обыкновения профессор не вошёл, а протиснулся. Обычно по строгому распорядку, заведенному в клинике, после обхода устраивался подробный клинический разбор с показательной поркой тех, кто плохо знает, медленно соображает и у кого руки не из того места растут. Подобное действие в редкие минуты благодушия профессор Хохлов называл конвульсиумом, ибо справедливо полагал, что консилиумом стоит именовать лишь собрание знающих, мыслящих и владеющих искусством ручного труда.

На кабинетном диване расположился молодой человек с Набережной. Лицо он прикрыл шляпой, а на груди его покоилась развёрнутая газета, совершая размеренные экскурсии вместе

---

<sup>2</sup> Отравы (от *лат.* *delere* – укрощать, уничтожать).

с грудной клеткой. Он спал. Глубоко, ровно и тихо, как никогда не спят мужчины, даже очень молодые, но лишь дети и женщины. Профессор Хохлов был слишком опытным клиницистом, чтобы промахнуться. К тому же, в отличие от посторонних, он до чёртиков знал «молодого человека», во всех его ипостасях, маскировках и прочем, в чём мы знаем близких и дорогих нам людей.

– Вера! – негромко позвал он. И в тоне его чувствовались нежность и радость.

«Молодой человек» моментально встал по-офицерски чётко, ибо сон его был чуток, как и положено сну военного хирурга. Пепельные волосы рассыпались по плечам. Улыбнувшись, красивая женщина в мужском костюме шагнула навстречу профессору. Они заключили друг друга в объятия и несколько проникновенных мгновений молчали. И в молчании этом было много больше, чем можно выразить словами, которые, разумеется, вскоре воспоследовали.

– Старый добрый Алексей Фёдорович Хохлов! Здравствуйтесь, профессор!

– Княгиня Данзайр! Вера Игнатьевна!

Они уже разомкнули товарищеские объятия, но ещё не выпускали рук друг друга. Пора было переходить к русскому чуть шутовскому, но от этого не менее искреннему барству. Трижды облобызавшись, они смотрели друг на друга так, как смотрят лишь друзья, чья дружба не просто звук, не светская условность для обозначения человека своего круга, но то сущностное, существенное, что подкреплено совместно пережитым, пройденным. То, что называется вместе пуд соли съест.

– Оставьте титулы, дорогой друг. Они приводят в восторг лишь тех, кто гноя бежит, – она кивнула на дверь кабинета. – Вы, как и прежде, горячи, громогласны и никому ничего не спускаете! Должен же быть в этом сошедшем с ума мире оазис стабильности!

– Так уж никому! Так уж ничего! – буркнул профессор, отправляясь к провинциально-пышному буфету в стиле буль, подарку спасённого им богатого помещика, налаживать «за встречу».

И профессор Алексей Фёдорович Хохлов с княгиней Верой Игнатьевной Данзайр уселись беседовать, пить чай и кое-что покрепче. Им было что поведать друг другу. Они давненько не виделись.

На заднем дворе клиники фельдшер Владимир Сергеевич Кравченко курил, наблюдая, как умело тачает упряжь госпитальный извозчик. Ворчание, коим Иван Ильич сопровождал свои манипуляции, наполняло смыслом господина фельдшера. Мир не может рухнуть, пока есть такие Иваны Ильичи. А если и рухнет, то Иваны Ильичи, выбравшись из-под обломков и встряхнувшись, начнут тачать из того, что осталось, латать, строить и созидать, непременно бормоча при этом.

Из клиники вышли ординаторы Белозерский и Концевич. Их почти все считали товарищами. И Белозерский считал Концевича своим товарищем. Он бы очень удивился, узнав, что фельдшер Кравченко так не считает. Его бы поразило, что так не считает сам Концевич, взятый в клинику, как и он сам, ординатором сверх штата – а значит, без положенного жалования. Сашка Белозерский был в халате поверх дорогого платья. Концевич был без халата, и на белоснежном фоне Белозерского его чистый, но старый костюм выглядел куда более бедным, чем являлся на самом деле.

– Доброе утро! – радостно поприветствовал всех Белозерский. Достал из кармана портсигар и прикурил от любезно протянутой Кравченко папиросы.

– Здравствуйтесь, Александр Николаевич! – кивнул фельдшер.

– Где ж доброе, будь оно неладно! – крикнул госпитальный извозчик, уколотившись шилом.

Когда поблизости был Концевич, Иван Ильич испытывал неясное чувство. А неясных чувств он не любил, в природе их копать обучен не был, посему считал нелепым сие кефирное занятие. Он просто знал: если, к примеру, лошадка беспокоится, то в природе сего беспокойства есть основа. Коли кажется, что скотина попросту дурит, то сам ты дурак, не понима-

ешь природу и основу не сыскал. Все же прочие фигуры рассуждений – бессмысленная будада, пушай ими барыньки себя развлекают, для мужика это свойство зловерное, если не сказать прямо: скверна!

Белозерский и Кравченко усмехнулись, переглянувшись. Оба они любили госпитального извозчика. Концевич, казалось, вовсе не замечал существования Ивана Ильича. Так, инструмент при кобыле.

– Я в присутствие ненадолго. Может, земство выбью, – сухо сказал он, отказавшись от протянутого Белозерским портсигара, доставая из-за пазухи коробку дешёвых папирос.

– Рано, Митька, земство! Опыта нет. Мы в клинике едва-едва...

– Мне средства к существованию нужны. Не то ещё неопытным ноги протяну! – смерив Белозерского красноречивым взглядом, холодно заметил он и прикурил самостоятельно. Ибо считал ниже ординаторского достоинства прикуривать в неподобающей матросской манере. Тем более у фельдшера, пусть он сто раз сам господин Кравченко. Или у купеческого сына Сашки Белозерского. Коробок спичек, слава богу, имеется. Свой собственный. Без игр в равные права на задворках. – В клинике я вполне достаточно для того, чтобы профессор Хохлов рекомендацию написал.

Не попрощавшись, Концевич ушёл со двора.

– Синдром Раскольникова! – добродушно, хотя не без иронии, заметил Белозерский, подмигнув Ивану Ильичу.

Кравченко ответил на шутку Белозерского мягкой полуулыбкой.

– Я про эти ваши синдромы не понимаю! – проворчал Иван Ильич. – Что от нищеты злорадия накатывает – то да, то бывает.

– Ты ж, например, не злой, Иван Ильич! – рассмеялся Белозерский.

– Так я не нищий! – охотно откликнулся тот, радуясь возможности поучить молодого доктора уму-разуму. – Я бедный. Могло быть и побогаче, но мне достаёт. К тому же я – не из господ. Есть разница – и её надо понимать! Я вот и за санитаря, на которого у Алексей Фёдоровича всё денег нет, постоянно носилки волоку, и шапка Мономаха ни разу набекрень не съехала. Картошки себе нажарю – руки не поломаю. А для иного благородного пустого чаю самому организовать – такое оскорбление евонной натуры, что у него желчь из организмы не выгонишь уже никак!

Иван Ильич сплюнул. По правде говоря, он терпеть не мог господина Концевича. В иерархии этого холодного субъекта госпитальный извозчик не значился вовсе, как уже было подмечено. Подмечено самим Иваном Ильичом, который никому ничего никогда не спускал. Хотя и был добрейший человек. Так не надо добро с нюнями путать.

Сашка Белозерский соорудил Кравченко нравоучительную рожицу, призванную изобразить нотационное настроение госпитального извозчика. Белозерский обожал Ивана Ильича. И, подмигнув фельдшеру, высказал объекту своего благоволения:

– Я тебе сколько раз, Иван Ильич, помогал носилки волочить!

– Так щенок, когда заласканный да сытый, он ко всем с радостью кидается!

– Сдаётся мне, что ты, дорогой мой пролетарий умственного труда, испытываешь к Дмитрию Петровичу тайную привязанность!

– Тьху! – ещё раз сплюнул госпитальный извозчик. – Я, Александр Николаевич, таких мутных жеребцов знаю! Как наш Митрий Петрович-то. Ни коноводить, ни верховодить не выражает, но и в табун не попадает! Живёт будто сам по себе, и никогда не знаешь, чего от него, шельмы, сожидать! Нет, уволь! Я коняшку понимать должен!

– Ага! Значит, не привязанность, а интерес, так сказать, естественнонаучный!

Иван Ильич отмахнулся от смеющегося Белозерского точь-в-точь как профессор. Социальные слои, может, и разные. Суть крепкая – одна.

Из-за конфликта со своей крепкой сутью и психовал сейчас Алексей Фёдорович Хохлов, расхаживая перед княгиней Данзайр, чрезмерно жестикулируя, как случилось с ним в моменты душевных волнений.

– Вера, уволь, не могу! Хочу! Жажду! Но не могу никак! Клиника полностью зависит от власть имущих! Мы на государственном пайке, чёрт его дери! Прости, господи!

Накоротко перекрестившись, он воздел указательный палец в потолок. Вера, проследив взглядом за экстатическим движением, не удержалась и рассмеялась.

– Смеёшься?! Воздух сотрясаешь? Мне бы самому, за себя, на себя – плевать! Да вот они кому нужны?! – палец переместился в сторону двери. – Ты, как ни крути, теперь по-ли-ти-ческая! – отчеканил профессор, подскочил к столу и стал яростно размешивать ложечкой давно растворившийся сахар в остывшем чае. – Мало тебе быть героем войны! Мало обскакать на поворотах людей куда почище! Мало рубить правду, будто её без тебя никто не знает! Так ты теперь ещё и видный член партии! Партия тебе зачем?

– Затем, что России жизненно необходимы конституция и демократия. Наконец-то в Империи появилась приличная партия. Мирная, заметьте! И не ставит целью свергать благословенную монархию, но лишь подать на стол то, что закипело ещё при Екатерине Великой. И давно употребляется во всём цивилизованном мире.

– В цивилизованном мире?! В каком цивилизованном мире?! – забурлил профессор. – В том цивилизованном мире, где вешают женщин и детей только за умысел? Да уж, конечно, мы варвары, что говорить! – сарказм хорошим напором хлестал из профессора. – У нас же за совершённые преступления принято в основном журить, а если уж кого по неосмотрительности, не дай бог, по ветхозаветному предали смерти за смерть – так всё, сатрапы! Как вам всем хочется походить на Европу! А ведь немало же по той Европе ходили, казалось! И уж от кого угодно такие речи, но не от тебя, не от тебя, человека мыслящего!

Улыбнувшись, Вера поднялась из-за стола.

– Вы сердитесь не на меня, дорогой мой Алексей Фёдорович. Вы сердитесь на себя. За бессилие.

Помедлив, он кивнул, опустив взгляд. В словах Веры не было ни упрёка, ни холодности, только дружба и милость. Хохлову было стыдно. Суть его крепкая утверждающе восклицала: возьми чертовку на службу! Но таковой поступок не остался бы незамеченным, в особенности после её доклада, прогремевшего на всю Россию. Жёсткого разноса разгильдяйства и бессилия организации и снабжения сухопутной военно-медицинской службы на Русско-японской войне с прямыми указаниями на халатность и воровство. Вера камня на камне не оставила, и это мало кому понравилось. Хотя и было встречено горячим одобрением не только врачей, военных, но и всеми, кто жаждал назревших перемен.

– Ладно вам, профессор! Вы хоть чаем напоили и на себя сердиты, что вынуждены отказать ученице. Другие на порог не пускали. С одной стороны, я – герой и знаменитость, с другой – изгой.

– Это одна сторона, Вера, одна. Герой и знаменитость – всегда изгой.

– Какова же другая?

– А нет другой! Не медаль и не монета! Нет другой! – воскликнул он, в запале ярясь на что-то глубоко личное. – Я тоже всё думал, что медалька. На одной стороне отчеканено «Совесть», на другой значится: «Дела житейские». И ты уж верти кверху какой хочешь. Да только нет никаких сторон! И по совести я обязан принять тебя. Но как быть с делами житейскими калек?! Как на них отразится мой поступок по моей совести? Самое гадкое – что, может, и никак! И я просто-напросто трус, худший из трусов: трус заранее!

Вере Игнатьевне больно было видеть, как мучается её друг и учитель. Будь она руководителем клиники, она бы не страдала. Действительно, никаких сторон. Точнее, одна: благо клиники. И всё, что может лишь гипотетически этому благу угрожать, отмечается безо вся-

ких сомнений. Но Алексей Фёдорович Хохлов был человеком глубоко нравственным во всех смыслах, и потому подобные решения давались ему нелегко. Она молчала, потому что любые слова только сильнее бы ранили его.

Глубоко вздохнув, профессор переменил тон на мягкий, вспомнив о делах житейских самой Веры, коими он так ни разу и не поинтересовался за время беседы:

– Давно из Москвы?

– Сегодня. Утренним поездом.

– Могу похлопотать на фабрику, в медсанчасть.

Княгиня усмехнулась.

– Ну да, ну да, понимаю твою иронию! Такой Швейцарии, как у Мальцова на уездных заводах, здесь, в столице, ты не найдёшь. И не по рангу тебе медсанчасть! – заведясь, Хохлов взметнулся ввысь: – Всё, Вера Игнатьевна, от твоей неуёмности! У меня тоже сейчас дурак один... Умный! Но дурак! Точь-в-точь – ты в своё время. Отец у него, конечно, великолепный! Тут никаких сравнений быть не может. Так и парень – не девка! Вот что ты со своей жизнью сотворила?!

– Не бабой родилась?

– В том-то и дело: бабой, Вера! Бабой! А гонору!.. И-и-эх!

Профессор Хохлов снова махнул рукой. После чего уставился на конечность с великим гневом, будто она подчинялась не ему, а вела независимую жизнь.

– Коснею я, Вера! Коснею!

Он обессиленно опустил на стул.

– Гимнастику необходимо делать, Алексей Фёдорович!

Он глянул на ученицу, в глазах у мерзавки, ей-ей, мелькали дьявольские огоньки. Профессор засунул руку в карман халата, отдав ей приказ не двигаться с места до особых на то распоряжений.

Руки Ивана Ильича и Владимира Сергеевича были заняты делом: они возились с госпитальной каретой, требовавшей капитального ремонта, а лучше – замены. Но у клиники не было средств. Сестра милосердия Ася под патронатом старшей сестры милосердия Матрёны Ивановны снимала бельё с верёвок. Белозерский, вышвырнув окурок, понёсся на помощь, как только Ася подняла тяжёлую корзину.

– Помогу!

– Что вы, Александр Николаевич, я сама!

Но Белозерский вырвал у Аси корзину и церемонно открыл перед нею двери, не обратив ни малейшего внимания на Матрёну Ивановну, перед носом которой дверь и захлопнулась. Поставив свою корзину на ступеньки, Матрёна Ивановна решила побрюзжать, пока особой суеты в клинике не наблюдалось.

– Помощник выискался! – недовольно сказала она.

– Завидки берут, что молодость прошла? – отозвался из-под кареты вездесущий Иван Ильич.

– Варежку разинет наша дурында – потом горько будет! По дорожке примеривай ножки! Чем Асе Концевич не угодил? Сохнет по ней!

– От них самих всё живое усохнет, от Митрий Петровича нашего! Крапивное семя!

Метнув осуждающий взгляд в сторону извозчика, Матрёна Ивановна подняла корзину и, демонстративно вздохнув, зашла в клинику.

Иван Ильич вылез из-под кареты и объяснил фельдшеру:

– Это Мотя мне намекала, что корзину не изволил ей поднести. А что бабе корзина с бельём?! Баба рождена для корзины с бельём! Всё тоже строит: извольте да позвольте! А сама подкову разогнуть может не хуже кузнеца. Одним взглядом плавит, бррр!

Госпитальный извозчик передёрнул плечами. Владимир Сергеевич улыбнулся. Ни для кого в клинике не было секретом, что Ивану Ильичу нравится Матрёна Ивановна. Как и то, что ни за какие коврижки он ей в этом не признается.

Но как бы ни были интересны дела профессорского кабинета и задворок, основная жизнь университетской клиники бурлила у коек больных. Мужская палата, где в наркотическом сне получал недолгое отдохновение от мук несчастный ампутант, была заполнена сверх нормы и более напоминала военный лазарет, нежели структурную единицу гражданской университетской клиники. На двадцати койках пребывали простые мужики, рабочие и крестьяне, ещё недавно бывшие солдатами и унтер-офицерами. Всех сюда привели последствия ранений.

Невозможно вернуться с войны здоровым, даже если бог дал возвратиться живым. И не всем мёртвым было отсыпано благодати упокоиться в родной земле. Сопки Маньчжурии нынче утыканы крестами. Не такой виделась государю русская экспансия на Восток. И как бы мучительно душевно и духовно он ни переживал последствия случившегося, не его раны нагнаивались, не его плоть бороздили очнувшиеся осколки.

Даже под блаженными опиатами по телу страдальца пробегали волны конвульсий. Он бежал на японские цепи, бежал на своих двоих, снова и снова предчувствуя первобытный ужас того, что свершится. Он опять и опять оказывался там, в грязи, под свистом пуль, на гудящей от разрывов земле, широко раскрытыми глазами глядя на свои ноги, лежащие невдалеке от него. Мгновением прежде он бежал – и вот они там, и он даже не заметил, когда и как это произошло. В животном ужасе он полз к тому, что ещё ощущал, что чувствовал неотъемлемой частью себя, но почему-то они в нескольких метрах, и если только успеть доползти и вернуть их на место, то...

*«...И в той долине два ключа: один течёт волной живою, по камням весело журча, тот льётся мёртвою водою... И стал над рыцарем старик, и вспыркнул мёртвою водою, и раны засияли вмиг, и труп чудесной красотой процвёл; тогда водою живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встаёт Руслан, на ясный день очами жадными взирает...»* – бормотал тогда юный ротный, сошедший с ума над телом друга. Бормотал снова и снова, и эти слова въелись в память, солдат и не заметил как. И вот они явились ему сейчас, когда он полз к своим ногам и чья-то сильная рука схватила его. С этими словами он и очнулся, чувствуя адскую боль там, где ничего не было. С ними он проваливался в этот кошмар, с ними возвращался из него. Не представляя, кто такой Руслан, чей труп процвёл чудесною красотой. Не ведая, что юный ротный покончил с собой. Не зная ничего, кроме всепоглощающей боли и этих дьявольских слов, мёртвою водою ритмично льющихся в аду. Удивительно, но и в преисподней черти играли в шахматы...

На соседней койке действительно играли в шахматы. У одного игрока не было правой руки, у другого – левой. Они азартно рубились, окружённые болельщиками на костылях.

– Ты пешку про... это самое! Как император – Цусиму!

– Без рук, без ног – ни крестьянин, ни пролетарий! Ситуация патовая...

– Спасибо министрам и лично государю!

Удивительно, но эти простые люди умудрялись шутить, и в словах их было куда меньше желчи и надрыва, нежели в речах серьёзных государственных мужей, которых не обдавало внутренностями товарищей, смешанных с чужеземной землицей. Велик простой человек, нестигаем, спасаем шутовством, когда спастись больше, признаться, нечем.

В палату тихо вошёл Белозерский. Сейчас в нём не было шикаватой лихости, явленной на утреннем профессорском обходе. Лица пациентов, насторожившиеся, когда дверь открылась, просияли. Александра Николаевича любили. Он был, что называется, добрый доктор. Нет, в клинике не было злых докторов, но Белозерского любили порой совершенно незаслуженно. Он был из тех людей, при появлении которых будто ярче светит солнышко. И серый петер-

бургский полдень становится уютней. Редко когда природная доброта озарена таким ласковым обаянием.

Сашка Белозерский будто был рождён нести свет. Хотя слово *Lucifer* у этих простых мужиков вызвало бы отрицательную коннотацию, ибо с позднего Средневековья в христианстве отождествлялось с сатаной, дьяволом, падшим ангелом, восставшим против бога. И в гимназиях они не учились, чтобы знать, что *lux* – это свет, а *fero* – несу. Впрочем, у славян Денница – утренняя заря... Но никому сейчас в этой палате не было никакого дела до этимологии, схоластики и пустопорожних толкований. Александр Николаевич Белозерский, единственный наследник колоссального состояния, был для простых покалеченных мужиков свой – и этого было достаточно.

– Здравствуйте ещё раз! – мягко произнёс он.

Раздался ответный нестройный хор, состоящий из пожеланий здоровья, шутивного «И вам не хворать!».

Он направился к постели прооперированного по поводу нагноения шрапнели. Тот было приподнялся на локте.

– Лежи, лежи! – заботливо упредил Белозерский.

Откинув одеяло, Александр Николаевич внимательно осмотрел состояние раны. Сейчас он был вдумчив и сосредоточен и по-особому внимателен. Становилось ясным то, что не понималось и не принималось в гостиных: отчего это «император кондитеров» позволил единственному наследнику учиться в военно-медицинской академии, если по факту рождения ему предстояло обучаться совсем другому делу. Если и существуют врачи от бога, Саша Белозерский, очевидно, принадлежал к их касте. Любому ремеслу обучить человека возможно, ежели человек не глуп, прилежен и с определённого возраста не ест козявки. Но совмещение призвания с ремеслом – высшая благодать. Ею Александр Николаевич и был пожалован.

Размотав бинты, осмотрев рану и убедившись, что заживление идёт положенным путём, ординатор Белозерский улыбнулся и, достав из кармана шрапнель, протянул пациенту на раскрытой ладони.

– Сувенир!

Тот взял с опаской, прежде перекрестившись. Осмотрев кусок металла с искренним детским любопытством, он произнёс с серьёзным мужицким уважением:

– Ишь! Япона мама! Год, значит, во мне тихонько сидела. А тут, смотри, добить решила! Врёшь, не возьмёшь!

– Вовремя обезвредили. Так что поступай с врагом, как знаешь. Хочешь – утопи, а хочешь – в красный угол поставь. Рана твоя дренируется...

– Вы по-русски, Александр Николаевич!

– Гной наружу вышел. Сухо. Перевязывать больше не будем. Без повязки, на воздухе, быстрее заживёт.

– Уж и не болит совсем! Два дня тому думал – всё! Взорвётся моя нога, так распёрло и стреляло. Я это... – мужик замялся, застеснялся, воздуху набрал, неловко потянувшись к прикроватной тумбочке, положил на неё шрапнель, да так и застыл. – Жена приехала, господин доктор! Дурында! Покос, а она шастает, переживает. Я сам-то сейчас фабричный, у Мельцера. Денег больше. Она на хозяйстве в деревне, баба моя, значит...

– Достать чего? Помогу.

Мужик кивнул. Белозерский нагнулся и вынул из тумбочки что-то округлое, завернутое в чистое полотно. Великолепный запах не оставлял места сомнениям: в руках он держал свежий хлеб, какой умеют печь только в деревнях.

Пациент выпалил, окончательно смутившись:

– Не побрезгуйте, Ваше благородие! Сама пекла!

Он поклонился Сашке, насколько это было возможно из положения лёжа. Белозерский расчувствовался простецкой душевной благодарности, стигме его признания. Развернув полотно, он предъявил всем любопытствующим большой красивый пшеничный каравай, смачно вдохнул запах, чуть не зарывшись носом в хлеб. Скорее, чтобы не расплакаться. Все жадно потянули воздух. Осмелев, завидя такую естественную реакцию, пациент решительно заявил:

– Ещё это! Полугар там! Отборнейшая рожь! Сама гнала!

Следом за караваем Белозерский извлёк бутылку самогону в четверть ведра.

– Ох ты! – чистосердечно восхитился он.

Увидав эдакий товар, израненные, искалеченные мужики присвистнули. Повисла напряжённая тишина, будто мир стал на паузу.

– Я сейчас!

Александр Николаевич выскочил из палаты. Пациенты сверлили бутылку взглядами. Даритель несколько растерялся.

– Сдаст профессору! – сглотнув, произнёс один из шахматистов, тот, что без левой руки.

– Не таков наш Саня! – заверил его товарищ без правой.

– Без царя в голове наш лекарь! – ткнул в направлении двери костылём один из болельщиков.

Конечно же, никого сдавать профессору Белозерский не собирался. Бутылку следовало изъять. Но и ничего не откинуть мужикам, уставшим от строгого больничного режима, было непозволительно. Следовало найти соломоново решение и как можно скорее. Вылетев из палаты, он обозрел коридор: пустынно! Только в дальнем конце из дверей кабинета Алексея Фёдоровича вышел высокий стройный молодой человек и пошёл в направлении, неизвестном обыкновенным посетителям, – на выход с непарадного крыльца. Белозерский испытал приступ ревностного любопытства, но тут из-за угла вышла Ася, торопившаяся по сестринским делам с кружкой Эсмарха. Соломоново решение явилось само собой, как являлось Сашке Белозерскому всё.

– Ася! – окликнул он, присовокупив нежнейший из своего арсенала взглядов. – Асенька! – он схватил её за тонкие плечики.

Ася моментально растаяла.

– Да?!

– Минутку часовым на посту, Асенька!

Белозерский увлёк девушку к дверям палаты и выхватил у неё кружку Эсмарха.

– Стойте здесь и немедленно сигнализируйте при приближении... кого бы то ни было!

После чего зашёл в палату, плотно прикрыв дверь.

Напряжённые лица сосредоточенно взирали на бутылку самогону. Александр Николаевич поставил кружку Эсмарха на тумбочку.

– Быстро вздрогнем, где же кружки?!

Вовремя доктор разрядил атмосферу. Все дружно потянулись за ёмкостями, каждый в меру личной маневренности. С одобрительным гомоном, под восклицание виновника появления хлебного вина:

– Вот это дело!

Белозерский ловко откупорил презент, скоро и несколько воровато разлил всем в подставленные тары.

– За веру, царя и отечество! – провозгласил он негромко, но торжественно.

Все сдвинули кружки, выпили, и только утолив первую жажду, немного успокоились.

– Вот, доктор, мы там из окопов шли за веру, царя и отечество! Нам в «Вестнике Маньчжурской армии» это каждый божий день прописывали. Как так? Ведь веры нашей никто не

трогал, царя не обижал, а отечество – и вовсе китайское! Можете вы нам разъяснить? По-простому!

Мужики дружно грохнули. Объяснять сейчас Александр Николаевич не был готов, хотя наемдни ввечеру, в компании развесёлых девиц приличного бардачного заведения, он всё понимал куда лучше государя, что уж говорить о министрах. Но здесь, вот им, пострадавшим на Русско-японской войне, лишившимся рук и ног, братьев, отцов, сыновей; оставившим семьи, чтобы воевать за... Да, проституткам в уши лить – это не мужикам звонить. Потому Александр Николаевич быстренько разлил по второй и тихо, но весомо произнёс:

– За себя и своих!

– Другое дело!

Опрокинувши, мужики усталились на каравай. Оторвав зубами первый кусок, Белозерский передал его по кругу.

– Угощайтесь!

Все с огромным удовольствием преломили хлеб с добрым доктором. Тем временем Белозерский чуть отлил из бутылки в кружку Эсмарха.

– Спасибо Фридриху фон Эсмарху за великолепную тару!

Оценив насупленные и просительные взгляды, коих он, впрочем, ожидал, подлил ещё немного и строго сказал, оглядев публику сурово как мог:

– Всё! На завтра оставьте!

Закрыв кружку Эсмарха, поставил в тумбочку и двинулся с бутылкой на выход.

Ася стояла у палаты ни жива ни мертва, потому что часовым на пост Александр Николаевич просто так не поставит. Не иначе, опять чудит. Она заламывала пальчики в тревоге. Со стороны служебного входа появилась фигура... Слава богу, это всего лишь Концевич! То есть в любой другой ситуации – не слава богу, Асе неловко было наедине с холодным, надменным ординатором. Но сейчас лучше Концевич, чем профессор, или того хуже – Матрёна Ивановна.

Концевич поравнялся с Асей.

– Что вы здесь?

– Выбили земство, Дмитрий Петрович? – выпалила Ася, хотя это был неловкий вопрос, внезапно заданный тоном закадычного друга. Будучи абсолютно бесхитростной, сестра милосердия оказалась способной на игру.

– К сожалению, нет вакансий. Анна Львовна! Я могу надеяться... как-нибудь...

Ася пошла пятнами. Она догадывалась, что Концевич испытывает к ней определённый интерес. Как догадывается об этом любая девушка. Она не желала обижать его отказом и потому не хотела слышать от него чего-то хоть в стотысячном приближении похожего на проявление чувств. И ещё она звериным чутьём угадывала, что Концевич не простит отказа, уж такой он человек. Она молчала. Молчал и Концевич. В растекающееся жижей молчание из-за дверей мужской палаты ворвался гуттаперчевый Белозерский.

– О, Митька! Выбил земство?

Белозерскому студенческое словцо «выбил» шло, в отличие от Аси.

– Нет вакансий! – повторил Концевич с совсем другой интонацией.

– Ну, брат Митька, что бог не положит, всё к лу... Асенька! Спасительница! Благодарю! Это – в смотровую!

Он вручил Асе бутылку и совершенно по-братски поцеловал в щёчку. И Ася поверх пятен залилась алым. Концевич холодно поклонился и пошёл в сторону ординаторской. Сестра милосердия, опомнившись, воскликнула:

– А кружка, Александр Николаевич?!

– Кружка использована по неотложным жизненным показаниям! Для предотвращения русского мужицкого бунта, бессмысленного и беспощадного! Благодарю за службу.

И, чмокнув её ещё раз, в другую щёку, он снова нырнул в палату. Оставшись одна, Ася сделала дверям кокетливый книксен, присовокупив:

– Рада стараться, Александр Николаевич!

Напевая и чуть пританцовывая, она понеслась по коридору в обнимку с бутылью, окрылённая, совершенно не понимая, чем именно.

Пациенты разошлись по койкам. Исключая двух неутомных шахматистов, у которых был неразрешимый вопрос: кто же всё-таки выиграл бы в тот день, когда партию двух храбрых артиллеристов прервала внезапная атака японских коллег по оружию. Каждый, разумеется, утверждал, что выиграл бы непременно он, кабы пришедшийся аккурат между ними снаряд не лишил их партии. И рук заодно. Не будучи знакомыми до войны, они сдружились накрепко и перетасили семьи в одну деревеньку. Жили этой неразрешимой шахматной партией, в то время как бабы их поднимали хозяйство и покрикивали на детей, если те по малолетству донимали отцов.

В шахматы мужиков обучил играть капитан, погибший в той атаке. Эту дорогую доску с филигранными фигурами подарил один высокий военный чин, узнав их историю во время инспекции санитарного поезда. Они и знать не знали, что высокий чин в мундире тоже всего лишь врач. Тот самый, «почище», коим профессор Хохлов пенял Вере Игнатьевне, якобы она его «обскакала на поворотах». Быстрее надо было готовить доклад. Да и никогда бы он себе не позволил резкости, всё бы обставил так, чтобы не ранить верхушку, а значит, и резонанса было бы меньше.

Его имя ничего бы не сказало простым мужикам. Это был Евгений Сергеевич Боткин. Можно было рассмотреть полустёртую печатку внутри шахматной доски: *«Высочайшее утверждённое товарищество чайной торговли Петра Боткина сыновей»*, но вряд ли это несло для мужиков персонализированную информацию. Добрый барин отдал им ненужную ему вещь, где-то раздобытую по случаю. Семейными реликвиями незнакомых калек не одаривают. В байках мужики приврали, не стесняясь, что шахматы подарил им сам генерал Куропаткин<sup>1</sup>... Ах, если бы они знали, что правда куда бесценней их бесхитростной выдумки.

Белозерский присел на кровать несчастного с фантомными болями, откинул одеяло и сосредоточенно наблюдал конвульсии, проходящие по телу. Сейчас он будто не испытывал сострадания, полностью погрузившись в созерцание, в мышление. Дождавшись паузы между волнами, он провёл пальцем по сохранившейся верхней трети бедра – и пациент застонал, скрежеща зубами, даже находясь в опийном дурмане. И отчётливо произнёс со страшным надрывом:

– И в той долине два ключа: один течёт волной живою, по камням весело журча, тот льётся мёртвою водою...

– Это Пушкин! – обрадовался Белозерский, хотя радоваться было совершенно нечему. Тут же устыдившись, он огляделся. На него никто не обращал внимания, кроме выздоравливающего, вертевшего в руках коварную японскую шрапнель.

– Он постоянно это бормочет. Вы не волнуйтесь так, доктор! Ещё и не такое бормочут. Жалко его, сил нет. Я-то что! Хромой слегка. А он, бедолага! – и пациент сочувственно покачал головой. – Ног нет – а болят. Вот ведь!

– Природу фантомной боли величайшие умы понять не могут! – веско заявил Белозерский. Ему сейчас необходим был собеседник. Как и большую часть его жизни. Сашка Белозерский не выносил тишины ещё более, чем не выносил одиночества. В детстве Сашеньке казалось, что в одиночестве и тишине его нет, он растворяется, исчезает. С тех пор мало что изменилось в его отношениях с тишиной и одиночеством.

– Что ж тут понимать?! – охотно принял подачу простой добрый мужик. – Глаза могилку видят, крест на ней. Голове растолковать могу, что сыночек наш маленький у боженьки, хорошо ему в раю! Но сердце, сердце-то – ножом!

<sup>1</sup> Куропаткин Алексей Николаевич, генерал-адъютант, командующий Маньчжурской армией.

Он сглотнул комок, сморгнул влагу и крепко сжал в кулаке осколок, больно впившийся в кожу. Слезы отступили.

Белозерский подскочил.

– Как сказал?!

От неожиданности слегка испугавшись – вдруг не то ляпнул при докторе, – пациент постарался пояснить:

– У престола Господня праведники...

– Нет-нет! То есть – да. У престола, конечно же! Но я не то!.. А ты – ты как раз то!

Белозерский в ажитации начал расхаживать между койками, бормоча:

– Глаза видят... Голове растолковать могу... Глаза видят! Дорогой ты мой!

Подскочив к собеседнику, он поцеловал его в макушку, чем привёл в окончательное недоумение. Затем вернулся к койке страдальца с фантомными болями, вперил взгляд в пустоты под одеялом.

– Глаза не видят – растолковать не могу! Надо, чтобы глаза увидели!

Он экстатически воздел руки, видимо, желая подчеркнуть этим жестом, какой он невообразимый осёл и как же то, что понимает мужик, прежде не приходило ему в голову! После чего он понёсся к дверям. Через мгновение резко затормозил и, круто развернувшись, направился к пациенту, доставая на ходу портмоне. Извлёк крупную купюру и засунул под подушку.

– Не побрезгуй! Сам со счёта снимал!

– Господь с вами, Ваше высокоблагородие! Никак вы рехнулись! За что?!

– За идею, дорогой ты мой! Максимально простая идея – ценнейшее для величайших умов!

Воодушевлённый молодой ординатор полетел на выход из палаты, воображая себя тем самым величайшим умом, который наконец-то реализует ту самую простую идею. Идею настолько элементарную, что тысячу лет крутилась у мыслителей перед носом, но ни у кого не достало нюху её ухватить. И вот пришёл он, Александр Николаевич Белозерский! Он совершит революцию: навсегда избавит человечество от фантомной боли!

Сашка нёсся по коридору в сторону профессорского кабинета, на бегу бормоча, словно молитву, будто заклинание:

– Голове растолковать могу. Могу растолковать – могу обмануть. Могу обмануть – могу растолковать. Необходимо, чтобы глаза увидели! Узрели!

На заднем дворе клиники старшая сестра милосердия Матрёна Ивановна с подозрением взглядывалась в небеса. Извозчик, сидя на перевёрнутом ящике, сворачивал самокрутку.

– Чего выглядываешь? Вёдро.

– Именно что вёдро. Пусто там!

Иван Ильич тайком перекрестился.

– Злая ты, Мотя. С чего?

– С того! Долго доброй была. Вся и вышла.

Усмехнувшись, извозчик покачал головой.

– Ну, уж и вся. Вот, скажем, Асю ты любишь.

– Люблю.

– Чего ж тогда шпыняешь постоянно?!

– Того и шпыняю! Девка на свете одна-одинёшенька! И любую ласку принимает за сказку.

– Да что ж плохого-то в ласке? И в сказке?

Матрёна, зыркнув на него, вошла в клинику, хлопнув дверью так, что не мастера петли самолично Иван Ильич, их бы сорвало.

Она решительно вошла в сестринскую. Ася пила чай.

– Матрёна Ивановна, присядьте, я вам...

– В Сашку Белозерского влюбилась?!

Ася залилась краской, ничего не ответив наставнице.

– Не доведёт до добра!

– Зачем вы так! Александр Николаевич не такой...

В сестринскую без стука влетел Белозерский с ворохом какого-то тряпья. От неожиданности Ася подскочила, уронив чашку.

Та расколотилась вдребезги, чай разлился по полу. Побагровев, Ася начала собирать осколки.

– Некогда, некогда! Потом! Пойдём скорее, со штанами мне поможешь!

Белозерский выволок Асю из сестринской, прихватив за локоток.

Матрёна, недовольная тем, что её продуманное нравоучение было прервано самим предметом нравоучения, присела собирать осколки.

– С пола прибрать – это не по нам! Мы помчались доктору со штанами помогать! Ой, негоже! – ворчала она, качая головой.

Разумеется, Ася прибрала бы и за собой, и не только за собой. И Матрёна Ивановна это знала. Как знала и то, что сестра милосердия не вправе оспорить распоряжение доктора. Даже если он изволил приказать помогать ему со штанами. Судя по тому набору, что был навьючен на нём, штаны были профессорские. Фрачные брюки с шёлковыми лампасами.

Матрёну осенило. Она подскочила, уронив осколки. На кой чёрт этому заполошному сдались выходные брюки Хохлова?! С завидной прытью она выскочила из сестринской.

Постучав в кабинет профессора и не получив ответа, Матрёна Ивановна ворвалась в помещение:

– Алексей Фёдорович!

Хохлова не было. Одежный шкаф был нараспашку, фрак брошен на кушетке, брюк к нему не наблюдалось. Заботливо пристроив фрак на вешалку и водворив на положенное место, Матрёна закрыла шкаф и выбежала из кабинета.

Население мужской палаты с недоумением наблюдало за докторскими хлопотами. Даже шахматная партия была отставлена. Лекарь «без царя в голове» с помощью доброго ангела милосердия Аси соорудил безноготу, всё ещё пребывающему в забытьи, подобие ног из господских брюк, набив их ветошью. Поправив пояс, Белозерский критически оглядел дело рук своих и остался доволен. Анна Львовна суетилась, чего пациенты за ней обыкновенно не замечали, и пребывала настороже. Из чего следовало, что эта парочка в белоснежных халатах занималась либо чем-то запрещённым, либо неразрешённым. А тонкая грань между неразрешённым и запрещённым хорошо известна русскому человеку, он её чувствует, и потому солдаты в едином порыве склонились к версии о неразрешённом, и никто из них не проявлял особого волнения. Разве любопытство: удастся ли Сашке вот это, не пойми что или как? Что любимый доктор частенько блажит, знали все, кто пребывал в клинике более суток, будучи при этом хоть сколько-нибудь в сознании.

– Алексей Фёдорович не одобрит! – решила наконец шепнуть Ася побелевшими от волнения губами.

– Я – врач. Вы – сестра милосердия. Выполняете мои указания. С вас взятки гладки при любом повороте! – добродушно и несколько легкомысленно произнёс Белозерский.

До него наконец дошло, что именно в композиции решительно не так!

– Ага! – воскликнул он.

Моментально скинув балморалы, приставил их к набитым ветошью брючинам, зафиксировал, насколько позволяли подручные средства. Расхаживая в носках, полюбовался делом рук своих. Выглядело пристойно. Будто мужчина прилёг отдохнуть на койку ненадолго, спину распрямить. Его и сморило. Жаркий день, оттого и пот на лбу.

Александр Николаевич достал медицинский несессер, собрал шприц, извлёк крохотный флакончик с мутной жидкостью и ловко затянул её в стеклянную полость.

– Вытяжка из крови надпочечных вен собаки! Анна Львовна, вы читали работы Альберта фон Кёлликера о волшебных свойствах этих крошек, чудо-органов?

Ася отрицательно покачала головой, глядя на Белозерского с суеверным ужасом. Пациентам все его слова и вовсе показались белибердой, и многие втихаря перекрестились, не говоря уже о тех, кто явно и широко осенил себя крестным знаменем.

– Бог не выдаст, свинья не съест!

С театральной торжественностью ординатор оглядел публику, подмигнул Асе и ввёл пребывающему в грёзах пациенту содержимое шприца внутривожно в латеральную поверхность верхней трети предплечья. Отложив пустой шприц на тумбочку, он приподнял голову подопечного так, чтобы очнувшись тот первым делом узрел фальшивые ноги. Все затаили дыхание, не в силах оторвать взгляды от происходящего. Несчастный распахнул глаза.

Он взмок ещё более, дыхание участилось – сказывались эффекты вытяжек. Он будто бы вернулся в сознание, но оно отказывалось принимать открывшуюся реальность: ноги были на месте. В чужих брюках и барских ботинках, но это были его ноги. Он их чувствовал. Ощущал. К тому же властный, сильный, но мягкий и убедительный голос вещал:

– Видал?! Раз – и ноги! Смотри! А хочешь – ногу на ногу закинь!

И Белозерский закинул пациенту ногу на ногу.

Несчастный почувствовал, как он сам – сам! – закинул ногу на ногу.

– Внимательно! Гляди!

Александр Николаевич улёгся рядом с мужиком. Так же закинул ногу на ногу, а руки вальяжно устроил за головой. Мужик чуть подвинулся от доктора, ничего не соображая, кроме одного, зато самого важного на свете: он чувствует ноги, и они не пылают огнём! В голове смолкло шипение шимозы и проклятый набор слов, ритмически сопровождающий волны адских мучений, выветрился, исчез, иссяк, испарился!

Лицо его просветлело. Никто слова не мог вымолвить. Все стояли уже не просто затаив дыхание, а будто и вовсе дышать перестали. У них на глазах совершалось чудо, а простой русский человек очень чувствителен к чуду, уважает чудо, трепещет и благоговеет перед чудом.

Только молодой доктор продолжал говорить без умолку:

– Мы с тобой старые товарищи, лежим на берегу, пальцами шевелим! Дамочек приглядываем.

Не прекращая тараторить, Белозерский пошевелил пальцами в носках:

– Ты неженка, песок не жалуешь, так ботинки не снял! А пальцами – мы оба шевелим! Давай, шевели!

Голос доктора, такой добрый, такой уверенный, благодушный, но в то же время – командный, проникал мужику в душу и ложился гладко поверх собственных ощущений. Инвалид расплылся в широкой улыбке:

– Шевелю! Шевелю пальцами!

Первой счастливо рассмеялась Ася. Её нежный колокольчиковый смех поддержали, подхватили басы и баритоны, духовые и ударные. Ася захлопала в ладоши, и население палаты поддержало её, аплодисменты грозили перейти в овацию, кто-то крикнул:

– Качать доктора! Ай да Сашка! Ай да сукин сын!

Все, кто мог ходить хотя бы на оставшихся ногах и качать хоть в одну руку, в едином порыве потянулись к ординатору Белозерскому. Он был молод, строен, пружинист, и качать его было вовсе не сложно, особенно на эмоциональном подъёме, который только усиливался радостными восклицаниями освобождения от адовой муки:

– Шевелю пальцами! Не болит!

На заднем дворе клиники госпитальный извозчик лежал под каретой. Фельдшер Кравченко сидел у рамы на корточках. Здесь же был и профессор Хохлов, сияясь разглядеть то, что показывал ему Иван Ильич. Будто разгляди он – проблема немедленно устранилась.

– Я, Алексей Фёдорович, специально призвал посмотреть самолично! Вот, извольте видеть, раму следует менять!

– Я тебе и так верю, Иван Ильич! Но где ж я тебе ту раму возьму?!

– Где взять, профессор, я знаю. Вы денег дайте, и я возьму в лучшем виде, незадорого, неновую, но справную.

– Ритор! – саркастически изрёк профессор, догадавшись наконец распрямиться. И тут взгляд его упал на Кравченко, отметившего реплику едва заметной улыбкой.

– Вы, Владимир Сергеевич, руководите бригадой и всеми этими делами. Не для того, чтобы они меня почём зря...

Из-под кареты донеслось скрипучее, недовольное, оскорблённое в самых лучших чувствах:

– «Они»! Вот тебе, Иван Ильич, и за верность! Вот тебе, Иван Ильич, и за службу! Вот тебе, Иван Ильич, ты уже и «они»! И «почём зря» тоже вот тебе, кушай на здоровьечко!

Алексей Фёдорович обратил молящий взор к фельдшеру, старавшемуся не рассмеяться. Но не успел Иван Ильич со вкусом разобидеться, только подбираясь к порогу ража, как из клиники выбежала Матрёна Ивановна.

– Алексей Фёдорович! Опять ваш Белозерский!

– Что «опять ваш Белозерский»? – слишком театрально, ничуть не уступая в актёрском мастерстве Ивану Ильичу, профессор нацелил всё своё внимание на старшую сестру милосердия, донельзя обрадовавшись её явлению, дававшему ему возможность избежать объяснений с уязвлённым извозчиком.

– Известно, что! Чудит!

Хохлов размашисто зашагал в клинику, Матрёна засеменила за ним, кивая и поддакивая. Профессор закипал:

– Неслыханное!.. Неслыханная!.. Ты ему – вдоль! – он тебе – поперёк!

Когда поступью командора Хохлов зашёл в палату, грозный и возмущённый, а за ним мелким бесом залетела Матрёна Ивановна, Белозерского качали. Он пребывал на вершине блаженства. Он чувствовал себя победителем. Да что там – чувствовал! Он и был победителем! И наглядным подтверждением его победы было то, что пациент, которого круглые сутки мучали чудовищные боли, лежал на кровати румяный, восторженный, без облачка недомогания на лице, и громко торжествуяще ликовал:

– Шевелю пальцами!

От неожиданности Белозерского выпустили из рук, но он ловко приземлился, да и калеки не слишком высоко его подбрасывали. Немного полежав в картинной позе, нарочито выждав, покрасовавшись триумфом, Белозерский подскочил с пола и столкнулся с пылающим взором Хохлова, скромно потупив глазки.

– Профессор, простите! Я взял ваши брюки!

Выдержав паузу, ординатор торжествуяще огласил:

– Но изобрёл способ купировать приступы фантомной боли!

Сашка не мог понять, отчего Алексей Фёдорович не разделяет радость его победы. Неужто из научной ревности? Не может быть! Профессор Хохлов для этого слишком... профессор! Учитель воистину академичен. И не может не разделять успех ученика. Но вот он перед ним лишь яростно раздувает ноздри, голос строг, тон холоден:

– Прошу вас пройти ко мне в кабинет!

Приложив руки к груди, Белозерский поклонился притихшей аудитории и последовал за Хохловым как был, в носках. Несмотря на таковую реакцию обожаемого учителя, он был счаст-

лив. Ничто не могло омрачить его радости. Вот оно, великое свершение Александра Николаевича Белозерского! Его ликторский пучок, его оливковая ветвь! Нет, безвкусный герб Витте копировать не стоит, это пошло, к тому же геральдика должна соответствовать заслугам. Надо подробнее изучить вопрос чуть позже, когда его работа будет признана, найдёт широкое внедрение и возведёт фамилию Белозерских в потомственное дворянство! Разве в серебряной главе щита пусть будет три червлёных абрикосовых цветка, как дань делу предков, обогатившему семью. Александру Николаевичу осталось лишь раздобыть доблесть.

Оглянувшись, он подмигнул замершей Асе. Пациент тем временем не замечал ничего. Ему наконец не было больно.

– Я чувствую ноги! Они есть! И они – не болят!

Хохлов обернулся, с состраданием оглядел мужиков, траченных войной. Они, кажется, гораздо раньше образованного Белозерского сообразили последствия. Жизненный опыт, тяжёлые испытания – всё то, что выпадает щедро простым людям, гораздо раньше обучает вот чему: обман – никогда не спасение, фальшь – никогда не избавление. Или правда. Или смерть.

– Анна Львовна! – пустым надломленным голосом, будто звуки давались ему с трудом, распорядился профессор Хохлов: – Не дайте пациенту прикоснуться к вашим... декорациям!

Ася испуганно кивнула, присев в книксене.

В профессорском кабинете Белозерский устроился в уголку, в роли скромного победителя, вынужденного выслушивать нотацию от вышестоящего. Хохлов по своему обыкновению расхаживал, яростно жестикулируя, обращаясь к ученику на повышенных тонах:

– Вы думаете, ординатор Белозерский, до вас сообразительные люди не рождались?!

– Рождались, профессор! – покорно поддакнул Александр Николаевич.

– Вы считаете, прежде никогда не размышляли, как победить фантомную боль?!

– Размышляли, профессор!

– Вы полагаете, никто не был таким же дураком, как вы?!

– Был, профессор, – как можно тише и подобострастней произнёс Белозерский.

Хохлов осёкся и свирепо глянул на ученика.

– Остроумец! Всё-то тебе кажется, что жизнь – это искромётный бурлеск! А между тем наш Иван Ильич уж куда остроумней тебя будет. Парадные портки ещё взял! Мне вечером в театр, – и профессор снова махнул рукой, подумав, что ампутирует мерзавку, если она не перестанет своевольничать.

Белозерский, вообразив, что вожжи ослабли, а гнев иссяк, обратился к профессору горячо, с огромным воодушевлением:

– Алексей Фёдорович, сработало же! Я нигде о таком не читал...

– Потому и не читали, молодой вы идиот! – взвился профессор. – Потому-то и не читали, что не работает!

– Но как же? – опешил Саша. – Вы же собственными глазами видели: боль ушла!

– Мой мальчик, это фокус! Трюк! Вы бы малышу подсунули ловко свёрнутый фантик, в котором нет конфетки?

– Бог с вами, профессор! Я вырос из подобных глупостей...

Он вдруг осекся. До него дошло, что именно подобную глупость он и совершил. Хохлов глубоко вздохнул:

– То-то же! Малыш расплачется, обнаружив фальшивку, и только. Нейрофизиология – не ярмарочный балаган! Мозг – не малыш! Наш мозг – монстр! Когда он сообразит, что его подло надули, он отомстит. Вдвойне! Втройне! Вдесятеро!

Белозерский внезапно стал похож на дитя, которому открылись сразу все несправедливости мира и его собственное бессилие перед ними. Профессору стало жаль ученика. Он чуть было не перестал сердиться. Но педагог взял верх. И вместо того чтобы сказать что-то погла-

живающее, профессор хлёстко выкрикнул, стараясь разогнать себя до жестокости к безответственному юнцу:

– Ты мне ангельские глазки не строй! Потому что мы с тобой сейчас, человек с человеком, пойдём и поглядим, что ты – человек! – сотворил с человеком же! Ты, врач, должен понимать, что медицина – это прежде всего ответственность! Теперь из-за ваших вытяжек персонал будет сбиваться с ног. А главное – пациент испытывать ещё более тяжкие мучения! Благодарю покорно!

Хохлов в пояс поклонился Белозерскому, который бы заплакал, не будь он мужчиной. Профессор схватил его за руку и поволок из кабинета обратно в палату.

Несчастный глухо ревел и метался по кровати. Фальшивые ноги были смяты, сбиты и окровавлены. И студенты, и пациенты, могущие оказать помощь, удерживали его. Матрёна набирала в шприц камфору, Ася с ужасом наблюдала, не зная, как подступиться к культям – они снова нуждались в обработке, страдалец сорвал повязки. Вошедший Концевич решительно подошёл к койке, скрутил салфетку и всунул её между зубов инвалида, окрикнув сестру милосердия:

– Он зубы крошит, как карамель! Что вы застыли?! Вам всё с рук не сойдёт, как Белозерскому!

– Зачем вы так, Дмитрий Петрович? Александр Николаевич хотел как лучше. Он хотя бы попытался!

– То-то теперь хорошо!

В палату вошли решительный Хохлов и понурый Белозерский.

– Фиксируйте простынями! – крикнул профессор Матрёне. – Наркотик не раньше чем через час! Убьём!

– Камфору я ему ввела. Сердце иначе не выдержит!

Студенты, Концевич и Ася принялись вязать обезумевшего. Почему-то пока не явился профессор, никто не сообразил. Хотя это было очевидно. И только Белозерский подошёл к стене, уселся на пол и всё-таки заплакал, проклиная себя. Он уронил голову на колени и накрыл её руками. В этот момент рядом с ним с сухим стуком упали его балморалы. И склонившийся Алексей Фёдорович прошипел со странной смесью злости и сочувствия:

– Обуйся! Ты врач, а не шпана! Наделал делов – разгребай! А не товарищи за тебя. И... И не показывать пациентам и персоналу, что ты живой человек, состоящий из незнания, ошибок и чувств! Всегда сохранять присутствие духа! Не смей раскисать при неудачах!

## Глава V

Покинув клинику, Вера Игнатьевна решила прогуляться, дабы привести в порядок смятённые чувства. Ей казалось, что она привыкла ко всему, что нет ничего, что могло бы её ранить, уязвить или попросту взволновать. Но отказ старого друга и любимого наставника неожиданно болезненно уколол. Она понимала причины, осознавала, как мучительно далось это Алексею Фёдоровичу, но доводы разума не приносили облегчения. Вот уж воистину самая загадочная из фантомных болей, преследующая человечество! Возможно, не всё, лишь некоторую его часть. Но и самый подлый, самый низкий человечешко порой нет-нет да и воскликнет: «Душа болит!» И воскликнет, бывает, искренно, не стилистического эффекта ради. А это же совершеннейший оксиморон! Нет души, не нашли её, не видно. Но болит другой раз похлеще спины, сорванной на войне.

Ноги сами привели её на Набережную. И только увидав в стельку пьяного безногого инвалида, полного кавалера Георгиевских крестов, она поняла, что пришла не просто так. Вера могла обойтись без многого, даром что княгиня. Единственное, без чего она ощущала немалый дискомфорт, – это цель. Без этой вожделенной штуки, идеального бессознательного стремления, достижимого лишь в парадигме реального сознательного преднамеренного процесса, Вере было чудовищно неуютно. А именно сейчас жизнь казалась ей бесцельной. И это было ужасней безденежья и отвратительней безделья.

Потирая ноющие культы и щедро прихлёбывая из фляги, калека, стекленея, со злобой таратился в проходящие штиблеты и дамские ботиночки.

– Гуляют господа и дамы, мать их за ногу! Ногами гуляют, крысы тыловые!

Вера присела на корточки напротив и, глядя прямо ему в глаза, насмешливо продекламировала:

– Не торопись дочитать до конца Гераклита-эфесца. Книга его – это путь, трудный для пешей стопы, мрак беспросветный и тьма. Но если тебя посвящённый вводит на эту тропу – солнца светлее она<sup>3</sup>.

– Я тебя хорошо помню, Ваше высокоблагородие! Уж лучше б ты меня помирать бросила, чем обрубок сделала!

Вера кивнула на крупные, хорошо контурированные бицепсы.

– Руки-то целы!

Сняв сюртук, положив его на асфальт и усевшись поверх по-турецки, она закатала правый рукав рубахи.

– Схлестнёмся?

– С бабой?! – язвительно усмехнулся Георгий, сплюнув на сторону.

– С бабой, с бабой!

Достав портмоне, она вытряхнула золотую пятирублёвую монету.

– На кон.

Жадно глотнув из фляги и встряхнув её – оставалось маловато, – Георгий не оставил иронический тон:

– Я-то что поставлю?! То, что поутру подали, Ваше высокоблагородие, уже того-с! Что не пропил, в кости спустил.

– Азартному человеку всегда есть что поставить.

– Что же?

Георгий красноречиво окинул взглядом свой нищенский скарб и тут же схватился за кресты, будто прикрывая их от мира.

<sup>3</sup> Княгиня процитировала Диогена Лаэртского.

– Доблесть не предмет игры, это святое, на неё не посягну! – серьёзно сказала Вера. – А вот твоя жизнь, как я погляжу, не особо для тебя ценна. Её и ставь.

– Жизнь?

– Да. Свою жизнь. Ставишь?

– Да на что вам моя жизнь?! – презрительно усмехнулся инвалид.

Пожав плечами, Вера с насмешкой бросила:

– Тебе всё равно больше нечего ставить.

Глянув на золотой пятирублёвик, затем скептически оценив с виду такую изящную руку княгини, уже выставленную наизготовку на ящик, Георгий всё одно медлил. Как подхлестнуть игрока?

– Бабы боишься или жизни жалко?

– Япошек не боялся и жизни никогда не жалел! Раз Ваше высокоблагородие изволит порукоборствовать, наше вам!

Материализовался мальчишка-газетчик, мигом организовавший тотализатор среди зевак. Он же взялся командовать поединком, шустрый малец. Вера сделала знак: момент! – и, скинув шляпу на мостовую, встряхнула волосами. Публика испустила хоровое «ах!».

– Готовность! – возвестил мальчишка.

Княгиня и бывший унтер стали на изготовку по всем правилам древнего, вовсе не шуточного искусства рукоборства.

– Марш! – крикнул пацан.

Самый выдающийся военный хирург современности, ныне опальный, и унтер-офицер, полный кавалер Георгия, теперь нищий калека, схлестнулись в нешуточном армрестлинге. Здесь не было ни чинов, ни сословий, ни заслуг, ни последствий, но лишь чистый азарт честного соревнования. Что-то из тех времён, когда на святки тысяцкого Москвы, а то и самого великого князя мог одолеть простой кузнец, и оба после валились в сугроб, хохоча и не выпуская друг друга из медвежьих объятий. Или ещё туда, глубже, дальше в века, когда норманн, викинг, варяг – должен был уйти зимовать в одиночестве в завершение своего взросления и, может статься, сразиться сам на сам с медведем. Или же приручить его, как Сергей Радонежский. Честная битва достойного с достойным. Достойная битва равного с равным.

Нахрапом взять Веру Георгию не удалось. Хотя он навалился на неё в прямой мужицкой манере, верхом, атакуя захватом с агрессивной пронацией. Вместо ожидаемой женской ручки Георгию противостояла сталь. Долгое время они сохраняли равновесие, будоража толпу. Но вот будто бы грубая мужская сила начала брать верх. Совсем немного оставалось Георгию до победы. Он взмок, хрипел и гипнотизировал сжатые в замок ладони. Вера же оставалась спокойной, хладнокровной и смотрела скорее в никуда, нежели куда-то конкретно. И в тот момент, когда болельщики уже не чаяли иного исхода, кроме единственно верного в рукоборстве дамы и солдата, княгиня незаметно, чуть подвернув запястьем, моментально уложила руку Георгия.

Толпа взревела. Раздались аплодисменты. И оскорбительный свист в адрес Георгия.

– Концентрация, друг мой, концентрация! Ты совсем не умеешь концентрироваться! – шепнула Вера, наклонясь за шляпой. – И пренебрегаешь техникой трицепса. Научу.

Георгий сидел как оплётанный. Зеваки расходились, большей частью разочарованные. Мальчишка-газетчик, поимевший гешефт, и тот сплюнул под ноги, несмотря на то что горячо любил Георгия:

– Тьфу! Бабу положить не смог!

Вера протянула Георгию руку. Он сидел, будучи не в силах посмотреть на неё. Она пожала плечами.

– Неспортивно! Как хочешь, но уговор дороже денег!

И, ухватив левой его правую, она насильно пожала ему руку, чётко выговорив прямо в лицо:

– Баба этими самыми руками волокла под огнём с поля боя на левом плече генерала Гурко, на правом – тебя, не для того, чтобы...

Резко оборвавшись, она выпустила руку Георгия из захвата. Он откинулся от неожиданности. Легко поднявшись, Вера проговорила уже безо всякой страсти, ровно, как человек, привыкший командовать, а более всего привыкший к тому, что его командам подчиняются:

– До вечера. Приду – чтоб здесь был!

Оказалось, несколько бездельников ещё стоят, разинув варежки.

– Расходимся, дамы и господа! Ножками расходимся! – гаркнула Вера не хуже заправского ротного. И тех как ветром сдуло. Только мальчишка-газетчик смотрел на неё во все глаза. Дети так легко заводят кумиров!

– Как звать?

– Кто звал, тот и знал! – огрызнулся мальчишка.

Чтобы не задавалась. Подумаешь!

– Тогда кыш отсюда!

Вера выписала мальцу лёгкий, но ловкий пинок по филею.

– Присмотри за ним! – крикнула она.

– Чего за ним смотреть! – пробурчал Георгий, чтобы просто что-то наконец сказать, удостоверить, что не лишился дара речи.

– Я не тебе!

Вера Игнатъевна отчалаила.

Чем она занималась целый день – бог весть. Человеку, сошедшему поутру с поезда Москва – Питер, наверняка найдётся чем заняться. Человеку довольно видному. Хотя любому видному человеку не составит ни малейшего труда затеряться. Видные люди редко ходят на газетные дагерротипы, и любая кафешантанная певичка всегда более знаменита, нежели действительно видный человек. Таков удел. И не сказать, чтобы видные люди не довольствовались оным. Быть видным почётно, создавать видимость – суетно. Быть видным – самобытность. Видимость – постоянная потребность быть частью чужого быта, неутолимая жажда, что-то на манер сахарного мочеизнурения, фатального сбоя обмена веществ. Видимые легко вычисляются по ацетонному смраду. Чистое дыхание видных гармонизирует мир, не являя себя ему.

Завершив свои невидимые дела, Вера Игнатъевна возвращалась на Набережную. Как это ни удивительно, сейчас она находилась в гармонии с миром и с собой, хотя дела её не были хороши. Но так неожиданно приятен был светлый вечер, так спокойна и беззаботна мирная жизнь. Нарядные дамы и господа не перебегают под взрывами, а прогуливаются, расправив плечи. Лошади не вздымаются к небесам в предсмертной агонии, путаясь в собственных кишках, а чеканят подковами бульжник, гордясь своей профессией. Приятны чистые экипажи. Невероятно мил грустный молодой человек, помахивающий докторским саквояжем. Какая печаль может тревожить столь совершенное молодое тело?

Внезапно выстрел разорвал невозмутимое течение Вериных мыслей и мирного светлого питерского вечера. Возмущённо заржали лошади. С визгом кинулись в разные стороны чистенькие дамы и господа, сгущая опасность. Страх всегда превращает толпу в угрозу. Ещё один выстрел... Свисток городского...

По обыкновению рефлекс тела сработали слаженной прописей мозга. Вера обнаружила себя у экипажа, из распахнутой дверцы которого сползал грузный мужчина, показавшийся ей смутно знакомым. По белой фрачной сорочке расплывалось кровавое пятно. Городовой поймал свечащих коней под уздцы, не переставая издавать истошные трели. Вера нагнулась к мужчине. Ухватив её за рукав сюртука, он прохрипел:

– Дочь! На руках сидела...

Вера поняла быстрее, чем он договорил. Кивнув, она опустила его на тротуар. Он с облегчением закрыл глаза. Последний вздох его был спокоен: он передал полномочия. Он понимал

– кому. Он был из тех, кто знает видных. Если кто-то и мог спасти его Соню – исключительно она. Он умер спокойным. Он упокоился с миром.

Вера уже была внутри. Её взору предстала девочка лет семи в праздничном белом платьице, крепко сжимавшая в ручке плюшевую собачку. По лифу растекалась алая кровь. Девочка была без сознания, но жизнь ещё не оставила её. Вера моментально разорвала ткань и погрузила указательный палец правой руки в глубокую рану детской груди. Отныне и до исхода в распоряжении Веры была только левая рука. Но если хирург не амбидекстр – то дрянь он, а не хирург. Легко подняв девчонку левой, Вера, пятась, спустилась с экипажа.

У тела грузного мужчины присел тот самый молодой человек, вызвавший интерес княгини. Вероятно, не столько статью и красотой – он был молод для неё, – сколько докторским саквояжем и тем удивительно детским выражением лица, иногда случающимся у сильных и цельных мужчин. Когда их, конечно, никто не видит. А где можно пребывать в большем одиночестве, нежели в толпе?

– Я доктор! – торжественно объявил Белозерский – а это был именно он, – увидав молодого человека.

– А я всё больше по слесарным работам! – саркастически усмехнулся «молодой человек», обернувшись.

На долю секунды Белозерский онемел. Он моментально узнал княгиню. Это её он ненавидел и любил, не будучи знакомым с ней, хотя и очень надеялся когда-нибудь быть представленным, и завоевать, и... Это же звезда военно-полевой хирургии Русско-японской кампании!

Сейчас у неё на левой руке лежала девчонка, а правая рука женщины его мечты была опущена в детскую плоть, разодранную огнестрельным ранением. И всё это в обрамлении кровавых лохмотьев у композиции «мёртвый мужчина в луже крови», под свист городского и ржание перепуганных коней. Грезивший подвигами Сашка Белозерский не так представлял себе знакомство с этой недостижимой, непостижимой царицей. На балу. В салоне. На каких-то пошлых наборных зеркальных паркетах, в мерцании свечей, у камина. Канделябрами бредил, срам какой-то! Представлялось, как он, во фраке, рекомендуется...

– Лёгочная аорта! Пневмогемоторакс! Ближайшая больница! Чёрт, не успеть! – разметала Вера жалкие остатки его грёз.

Скорее среагировав, чем сообразив, Белозерский залихватски свистнул, перекрывая трели городского, и выбросил вверх руку с зажатými в кулаке ассигнациями. Немедля подкаатила пролётка. Вера вскочила в экипаж, он запрыгнул к кучеру.

– Лихо домчишь – все твои!

Извозчик не заставил повторять дважды и, с отяжкой стеганув лошадку, поднял её в галоп. Никто и не заметил, что девочка выронила собачку, и та теперь промокала кровью её отца.

Городовой, устав дуть в свисток, лишь всплеснул руками, чуть не выпустив лошадей:

– Тпру, любезные! Кучер-то ваш куда подевался? Малышку что за субчики уволокли? Что я сыскным скажу, господи?!

Возбуждённый озвученными, крайне неблагоприятными для себя обстоятельствами, он стал свистеть с утроенной силой.

## Глава VI

Вбогатом особняке царил покой. В огромном белом фойе, украшенном лепниной, мраморными и бронзовыми статуями – всё работы известных мастеров, – зеркалами, панорамными окнами и роскошными дверями, стоял белый рояль. В полукресле Генриха Даниэля Гамбса, вещи уже не только дорогой и винтажной, но в некотором смысле исторической, скрестив вытянутые ноги, сидел Василий Андреевич, олицетворение и дух дома Белозерских. Назвать его старшим лакеем значило бы нанести смертельное оскорбление. Дворецкий и мажордом, равно и управляющий хозяйством, тоже категорически отвергались Василием Андреевичем. Более всего его слух ласкало английское слово *butler*, глава дома. Он обладал всеми качествами, необходимыми для столь значимой должности. Он был надёжен, как сварной дамаск в крепкой умелой руке. Он был предан, как пёс, и способен хранить тайны, как рыба. Он считал семью Белозерских своей, и так оно и было на самом деле. Белозерскому-старшему частенько казалось, что Василий Андреевич являет собой не главу дома, а именно что главу семьи. Это Николая Александровича иногда раздражало.

Василий Андреевич был тактичен, если не считал необходимым быть бестактным. Он был ненавязчив, ежели обстоятельства не требовали быть предельно настойчивым или лучше сказать – настырным. Он соблюдал дистанцию как со старшим, так и с младшим Белозерскими до тех пор, пока забота о них не требовала эту дистанцию резко сократить. Он знал традиции и предпочтения фамилии. Некоторые из них он сам и завёл. Он был пунктуален, и это не имело оговорок. Его организаторские способности были выше всяких похвал. И если бы Василий Андреевич правил Российской империей, возможно, это было бы лучшее из правлений, но он не был честолюбив. Он был беспредельно внимателен к деталям, чем выводил из себя ту самую семью, заботу о которой считал делом чести и всей жизни.

Сейчас Василий Андреевич, удостоверившись в том, что вверенный ему дом окружен тщательной заботой, читал. Он был большой любитель литературы. Пожалуй, из него вышел бы отменный профессиональный критик, кабы его интересовало хоть какое-то поприще, кроме заботы о клане Белозерских. В руках у Василия Андреевича было первое издание пьесы «Ревизор», типографии А. Плюшара, от 1836 года. У Белозерских была богатейшая библиотека.

Василий Андреевич был во фрачной паре, разве что на фраке его не было шёлковых отворотов, а на фрачных брюках отсутствовали шёлковые лампасы. Но белая крахмальная сорочка была голландского полотна, и Василий Андреевич не надевал жилета. В другом доме ему бы непременно выговорили, ибо подобную вольность могли позволить себе лишь господа, но только не здесь. Здесь ему давно говорили, что он может носить сюртук и какой ему угодно и удобно костюм, ибо считали Василия Андреевича членом семьи. Но фрачной лакейской пары Василий Андреевич держался, как держится капитан корабля дисциплины. Можно сбиться с курса. Нельзя сбиться с организации. Так считал Василий Андреевич, и никто в доме не хотел с ним спорить – себе дороже.

Требовательно задребезжал дверной звонок. Василий Андреевич ненавидел эту сволочь за его настырный нрав и препротивный голос. Он никогда не подсказывал и не нёсся, потому что принципиально не шёл на поводу у истерик любого рода. К дверному молотку Василий Андреевич относился с уважением, но теперь эта система оповещения, как именовал её старший хозяин, отжила своё, по его же утверждению. Хотя у них на дверях имелась львиная морда с зажатым в зубах кованым кольцом, очень достойная штука, и сам Василий Андреевич пользовался только ею, подолгу колотя и после подолгу же выговаривая горничным, чтобы уши мыли тщательнее. Как может спокойствие и достоинство отжить своё?! Не хотел бы Василий Андреевич дожить до тех времён, когда настырная надрывная скандалёзность станет неотъемлемой частью быта таких достойнейших людей, как Белозерские.

Василий Андреевич встал, заложил книгу закладкой, неспешно проследовал к входным дверям и так же несуетно их отворил. Вошёл старший Белозерский.

– Здравствуй, Василий Андреевич!

– Добрый вечер, Николай Александрович!

Приняв у барина газеты и письма, Василий помог ему снять лёгкое пальто. После чего вернул газеты и письма. Всё это было проделано неспешно, с огромным уважением и к прессе, и к пальто и изрядно начало выводить из себя старшего Белозерского, который и без того был на взводе.

– Александр Николаевич появлялся?

Вопрос был задан якобы спокойно, но Василий Андреевич умел понимать хозяина лучше его самого. В этом спокойствии таилось сейчас и волнение, и раздражение, и гнев, и нежность – всё то, что таится в любом родителе дитяти, сколько угодно взрослого. Приготовившись к тому, что все горшки полетят в него (впрочем, не привыкать), Василий Андреевич изобразил равнодушные дворецкого:

– С позавчерашнего вечера не изволили...

В этот момент незапертые двери распахнулись настежь, и в фойе ворвалась женщина в мужском платье с окровавленной девчонкой на руках. Удерживавший створки младший Белозерский выкрикнул:

– Наверх и направо!

Незнакомка понеслась к широкой мраморной лестнице.

– Привет, Василь Андреич! Папа! – Белозерский клюнул отца в щёку. – Позволь тебе представить... потом!

Сын полетел следом за незнакомкой, уже одолевшей первый широкий пролёт.

Василий Андреевич остался невозмутим.

– Вот и Александр Николаевич пожаловали. К ужину.

Заподозрить в старом верном слуге сарказм не было никакой возможности, хотя хозяин внимательно вгляделся. И изрядно рассвирепел.

– Да что ж такое! – воскликнул старший Белозерский, швырнув письма и газеты и пнув полукресло, с коего слетело первое издание нашумевшей некогда пьесы. После чего потопал к лестнице.

Сохраняя совершенную безмятежность повадки, Василий Андреевич неспешно и аккуратно собрал корреспонденцию, сложил на рояль, поднял полукресло. И лишь затем со священным трепетом поднял книжицу.

– Так-то оно, конечно, так. Но Гоголь-то в чём виноват?

В правом крыле второго этажа располагалась прекрасно оборудованная клиника. А Вера Игнатьевна повидала клиник. Эта была выше всяких похвал. Если оставить тот факт... Впрочем, сейчас никакие факты Веру не интересовали, кроме одного: оборудование и оснащение позволяли оказать должный объём хирургической помощи.

– Набор на грудную полость! – скомандовала она, укладывая девчонку на операционный стол. Один из лучших, доступных за деньги. На войне таких очень не хватало, хотя всё обещали поставить и демонстрировали бумаги о закупке. Кто-то получил прибыль, и немалую, и посредники – ничуть не меньшую, чем производители, а до фронта столы так и не дошли, не успели. Пространства огромны, время конечно. Теперь они шли назад, чтобы пылиться на складах, изрядно претерпев по дороге и ожидая своей судьбы. В то время как их недостаток в клиниках по всей Руси великой был чрезвычайен.

Молодой человек весьма шустро предоставил всё необходимое, успев скривить эдакую рожицу: сам знаю! Сообразил дозу морфия, что в данной ситуации было куда предпочтительней эфира, и ловко ввёл пациентке в область каротидного синуса. Вера одобрительно кивнула. Сдёрнув пиджак, он стал на место ассистента.

– Стернотом! Вскрывай грудную полость!

На мгновение в его глазах мелькнул страх. Вера красноречиво указала подбородком на свою правую ладонь. Стоит ей вынуть палец, перекрывающий просвет лёгочной артерии, и малышка истечёт кровью.

– Марш! У девчонки нет времени на твои ментальные барьеры! – язвительно подстегнула она. – Вскрывай! Разрез одномоментно! Да обойди мой палец, он мне нужен!

Александр решительно вскрыл грудную полость, немедленно вставил и раскрутил ретрактор.

– Шить артерию!

Он подал иглодержатель с заправленной нитью. Удерживая правую ладонь в ране, Вера левой ушила артерию на пальце.

– Быстрый мальчишка! Откуда такая роскошь на дому?

Николай Александрович Белозерский в волнении расхаживал по кабинету. Разумеется, он не стал врываться во владения сына, хотя очень хотелось. Таковы были правила этого дома. Здесь полностью доверяли друг другу. Если и ожидали объяснений, то никогда их не вырывали. К тому же старший Белозерский безмерно любил единственного сына. Обожал. Хотя так было не всегда. Первые дни после его появления на свет он ненавидел новорождённого яростно и глубоко. Потому что рождение сына стоило жизни его матери. Молодой красивой женщины, боготворимой мужем, чья жизнь обещала быть настолько безоблачной, насколько может быть жизнь невероятно богатой и безусловно любимой особы.

Несколько раз промаршировав по кабинету – надпочечники гневливых людей поставляют куда больше того таинственного субстрата, коим так интересовался швейцарский гистолог Альберт фон Кёлликер, и потому они швыряют предметы и склонны к движению, – он сосредоточился на стенах. Они все пестрили грамотами, дипломами, рекламами – иные из которых являли собой произведение искусства – и прочими свидетельствами побед на профессиональных фронтах. Особую гордость представляли собой специальные удостоверения из Канцелярии Министерства Императорского Двора, с цветным изображением торгового знака «Белозерского сыновей» и указанием статуса поставщика «Высочайшего Двора» – *«Поставщика Двора Его Императорского Величества», «Императрицы Марии Федоровны», «Императрицы Александры Федоровны», «Великих князей и княгинь»*.

Стоит остановиться на истории рода, чтобы лучше понимать характер господ Белозерских, как старшего, так и младшего, ибо кровь – не водица.

Жил больше века тому назад в селе Троицком Чембарского уезда Пензенской губернии крепостной крестьянин Степан, сын Николаев. Очень хорошо готовил, в особенности сладости. В смысле сливового варенья и пастилы из абрикосов суший виртуоз был. Тесно ему стало на месте с таким искусством, и попросился он у барыни походить по оброку в Москву. Она, не будь дура,пустила. Больше дохода будет. Мужики на Руси случались. Призвать в свидетели хотя бы возлюбленного Василием Андреевичем Гоголя: *«А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ!»*

Только Степан, Николаев сын, не в крепости помер. К 1804 году была у него, начинающего кондитера, своя мастерская, пусть маленькая, зато с постоянной клиентурой. Не пил, не кутил, оброк платил справно, и в кубышку доставало. Семью выкупил, в Москву перевёз и производство расширил. Жена, дочь да двое сыновей – большое подспорье. Пахали от зари до зари, обслуживая званые вечера, чиновничьи балы и купеческие свадьбы. А уж как игумен Ново-Спасского монастыря абрикосовую пастилу Степана иконой благословил – тут и дворянство в клиенты подтянулось. И в семьдесят пять лет Степан Николаев, получив высочайшее дозволение открыть торговый дом, записался в купцы Семёновской слободы и лавку открыл. По оброку, надо сказать, не юным пошёл, а в шестьдесят четыре года, но талантом и трудолю-

бием неплохо за одиннадцать лет развернулся. В двенадцатом году помер, не пережив наше-ствия Наполеона, да и годы были серьёзные. Дело сыновьям перешло.

Далее были взлёты – внук Степана Николаева стал «шоколадным королём» России, случались и падения. Но ни одно разорение не могло сломить дух семейства, кто-то в роду снова и снова поднимал сладкое дело. То, что началось с крохотной мастерской, расширилось до «конфетной империи», включающей множество механизированных кондитерских предприятий, и потомок славного сына Николаева, Николай Александрович Белозерский, с гордостью носил титул «императора кондитеров», совершенно заслуженный. Он досконально знал все технологические звенья, никогда и никому не доверял закупку сырья, сам никогда не покупал сырьё вслепую, доверившись лишь отзывам или рекомендациям. Как и его славные предки, ходившие на рынок самостоятельно, даже когда штат мастерской составлял уже двадцать пять работников, Николай Александрович всегда самолично отправлялся проверять качество сырья и не важно, в какую точку мира и сколько времени это занимало.

Это был очень упорный род. Род упрямый, если не сказать упёртый. И довольно часто отец, всматриваясь в своего единственного сына, не подмечал в нём этой родовой черты. Со слишком близкого расстояния не охватить картины в целом и в глаза вперяются лишь отдельные детали. Потому временами Николай Александрович, будучи человеком большого ума, всё-таки усмехался, гордясь Сашкой. Хватило же у сына упрямства заняться именно медициной. А вдруг именно то, что его мать умерла родами, подвигло сына на таковое служение, и он вовсе не выдающихся способностей? Подобные мысли иногда тревожили Николая Александровича.

Люди ожидают от своих детей великого или хотя бы большего, нежели от детей посторонних. В особенности если для наследников созданы все условия. Не случится ли так, как всё у того же Гоголя? *«Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живёт, и хорошо живёт. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро»*. Но, собственно, толстым Николай Александрович не был. Он был статным, мощным мужчиной в цветущем возрасте, безупречного здоровья. Никаких прямых мест не занимал, а имел своё дело. И собирался заниматься им ещё долгие и долгие годы.

Немного успокоивши себя ходьбой, он остановился у особого уголка. Там были фотографии жены, полной жизни юной красавицы. Вот и сам Николай Александрович, неотличимый от нынешнего Александра Николаевича, разве что тяжёлая поперечная складка на лбу, так с тех пор и не сгладившаяся. Потому с тех самых пор Николай Александрович казался человеком суровым. Тем, кто не знал его близко. Тогда и появилась эта складка, у гроба с женой. Когда ему сообщили, что она умерла, он не мог поверить, и его даже связали, оттащив от тела, которое он встряхивал, будто если тряхнуть посильнее, то она опомнится и оживёт. Василий Андреевич, здоровый бугай, только и смог справиться с молодым барином, уже отправившим доктора в нокаут.

Сашку от первобытного отцовского гнева спас именно он, его добрый ангел, его старый лакей, его дворецкий, член его семьи, Василий Андреевич. И воспитывал мальчишку исправно, уже в три года Сашенька Белозерский заслужил право на штаны, о чём тоже имелась карточка. Кажется, тогда отец впервые смог посмотреть на сына без ярости, без гнева. Хотя много раньше понимал, что не сын виноват в смерти матери. И не то чтобы такого мощного человека, как Николай Александрович Белозерский, могло мучить или хотя бы щекотать чувство вины, но захоти его наследник стать хоть цирковым борцом, он вряд ли бы сопротивлялся, а скорее просто купил бы ему цирк.

В таких стихийных порывах Николая Александровича мог обуздать только всё тот же верный Василий Андреевич. Но когда Саша захотел на войну, тут уже, несмотря на все разумные доводы про честь и Отечество, Николай Александрович воспользовался тем, что он гласный

общей Городской думы, выборный купеческого общества, кавалер трёх золотых медалей «За усердие» (последняя – на Александровской ленте), купец первой гильдии, учредитель купеческого общества взаимного кредита, кавалер орденов Святого Станислава и Святой Анны 3-й степени, потомственный почётный гражданин города, член правления учётного банка и крупный домовладелец. В особенности помогло последнее, ибо в доходных домах бесплатно использовали квартирки для своих невидимых амишек<sup>4</sup> иные видные лица. Конечно, он ничего не сказал сыну, ловко провернув всё. Но врать не умел, а коли отец молча косит в сторону вместо ответа на прямой вопрос, так тут уж и сын не дурак. И откупился он от сына только средствами на домашнюю клинику. Хотя был чрезвычайно против этой идеи. У Александра Николаевича не было оснований для законной личной практики. Николай Александрович обстоятельно изучил Уложение, и пункт о безвозмездности, о «совершаемом по человеколюбию», освобождающий от уголовной ответственности, его несколько успокоил. Тем не менее, несмотря на кажущийся сложным замес, опара была великолепна. Отец и сын нежно любили друг друга. Этим решалось всё.

Потеплев взглядом, погладив изображение жены и улыбнувшись карточке маленького сына, Николай Александрович сел за стол и стал разбирать бумаги, привычно бормоча:

– Сашка, Сашка! Кому дело передам?! Не выйдет из тебя императора кондитеров, шоколадного короля России. Женился бы! Внука мне поставил! Чёрт! Поставщики какао-масло задерживают.

Наткнувшись на важное в гуде корреспонденции, он тут же схватил телефон.

Вера уже зашивала кожу.

– Вы не похожи на фото в газетах! – решил наконец Александр. – Не представлял, что глава полевой военно-медицинской службы так сногшибательно красива!

Он выдохнул, зардевшись от собственной отчаянной наглости.

– А кто похож? – усмехнулась Вера Игнатьевна, не поднимая глаз от оперполя. – Как же вы меня узнали?

– Только вряд найдёте вы в России целой... что-то там, парам-парам, ног...

– Три! – коротко хохотнула Вера. – Три пары стройных женских ног. Уж такие стихи молодые люди должны бы помнить наизусть.

– И одну женщину-хирурга! Такого уровня! Первую и единственную! Тампонада лёгочной артерии, дренирование перикарда – ваши методики, они...

– Всё равно умрёт! Слишком долго...

Казалось, Вера пропустила мимо ушей тираду, исполненную Сашей со щенячьим воодушевлением.

В кабинет Николая Александровича вошёл Василий Андреевич с подносом. На подносе стоял кофейник, графин коньяку и бокал. Молча поставив поднос на стол, Василий Андреевич отошёл к книжным полкам. Хозяин сам любил наливать себе и кофе, и коньяк. Однако прежде, уставившись в спину слуги, Николай Александрович произнёс вроде бы безразлично и будто немного искательно:

– Василий, кто это с Александром Николаевичем?

– Женщина в мужском платье и окровавленная девочка! – констатировал Василий Андреевич со всем возможным равнодушием.

Хозяин фыркнул:

– Умник!

Налил коньяку, опрокинул.

– Василь Андреич, а пойдй погляди...

– Молодой барин не велят, если сами не зовут.

---

<sup>4</sup> Любовниц.

– Я! Я тебе приказываю! Я самолично на правах, чёрт вас всех дери, хозяина этого дома! Василий лишь покачал головой.

Николай Александрович вскочил, отшвыривая бумаги. Он бы и кофейник уронил, но не хотелось заставлять Василия прибираться почём зря. Да и отменный кофе тоже рождается не просто так.

– Ёлки-палки, зелёные моталки! В собственном доме!

Несмотря на гневные интонации, он посмотрел на старого слугу просительно.

– Не пойду, – спокойно ответил Василий, выживая с полки «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина.

Николай Александрович выскочил из кабинета, фыркая что-то про неповиновение, про неуважение. Хотя сейчас его разбирало в большей степени, конечно же, волнение. На девочке было дорожущее платье, это не нищим раны обрабатывать. Нет, он верил в сына, Саша был очень добрым мальчиком. Понятно, что ребёнку нужна помощь, но почему не в больницу, почему при таких странных обстоятельствах, ещё и с какой-то дамой, смутно знакомой... Да, следует признать, более всего Николая Александровича разбирало любопытство.

И как настоящий хозяин в собственном доме, он решительно переместился из левого крыла в правое, не менее уверенно промаршировал по коридору... Но чем ближе была сыновья домашняя клиника, тем менее размашистой становилась поступь отца. Подойдя к двери, он и вовсе утратил праведное право быть в курсе всего, что совершается дома, и стал мяться в постыдной нерешительности. Лицо его из гневного преобразилось в растерянное. О, как они с сыном были похожи в этой прекрасной естественности смен настроений.

Собрался постучать. Передумал. К дьяволу! Стучать в собственном доме! И... Николай Александрович, воровато озираясь, припал ухом к тяжёлой дубовой двери. Жест не только бесславный, но и заведомо безрезультатный. Качество материалов интерьеров не оставляло никакой возможности расслышать хоть что-нибудь.

Между тем в приёмной домашней клиники ничего постыдного не совершалось. Александр Николаевич разговаривал по телефону. Возможно, кого-то могли бы смутить окровавленные рукава крахмальной сорочки, но, учитывая едва завершённое оперативное вмешательство и не терпящий отлагательств последующий патронаж, не было времени сменить одежду. Он яростно крутил ручку, костеря телефонистку, не обращающую внимания на загоревшуюся лампочку. Наконец фея изволила воткнуть штекер в соответствующее гнездо.

– Барышня! – рявкнул Александр Николаевич, проглотив «вашу мать!» – Соедините с госпиталем «Община Святого Георгия»!

Вызвав карету, Саша вернулся в операционную, плотно прикрыв дверь. Мгновением позже в приёмную ворвался отец. Николай Александрович мучился соображением: как пристойней явиться в клинику. И, разозлившись на себя дальше некуда за экзерсисы с подслушиванием, что недопустимо даже для горничной, решительно толкнул дверь, оказавшуюся незапертой.

В операционной Вера осматривала маленькую пациентку, не приходящую в сознание. Вера Игнатьевна была настроена критически. Жизнь научила её не расстраивать себя надеждами. Но пульс был. Хотя и слабый. Она впрыснула девочке камфору. Пошла к раковине, дабы попытаться привести себя хоть в сколько-нибудь пристойное состояние, и её настиг приступ ишиаса. Вскрикнув, она схватилась за процедурный столик. Вошёл Александр Николаевич.

– Сейчас прибудет больничная карета... Вера Игнатьевна, что случилось?

– Смещение позвонков поясничного отдела! Вправо!

– Я... не... никогда не делал подобного! – испуганно пролепетал Саша Белозерский.

– Господи! – простонала Вера, устраиваясь на столике поудобнее. Она расстегнула и спустила брюки. – Становись позади меня и установи ладони на крестце! Да побыстрее, у нас не любовная прелюдия!

Покраснев, Александр подпрыгнул к Вере со всей решительностью, с тем чтобы показать, что он чужд глупых условностей, он же врач, и нет ничего невозможного для человека, окончившего курс с отличием и вошедшего в пятерку лучших.

– Массируй в импульсной манере, сильно поддавая кверху.

Александр Николаевич начал, понукаемый и направляемый Верой.

Николай Александрович прокрался пустынной приёмной, проделал повторно недостойное упражнение с прикладыванием уха к очередной двери, но ни черта не расслышав, резко пихнул створы и вошёл в операционную.

То, что представилось его взору, являло верх неприличия! Даже если оставить без внимания тот факт, что сие совершалось рядом с малолетней, лежащей на операционном столе. И то, что оба участника... этиода были в окровавленной одежде. Ни боже упаси, Николай Александрович не был ханжой! Да, он любил покойную супругу и так никогда более не женился, но он не жил анахоретом и не был чужд плотских удовольствий, но есть же... В данный момент он затруднялся сформулировать, что именно есть. Рамки? Нормы? Нет, все эти определения прозвучали бы довольно слабо.

– Сильнее! – командовала его сыном незнакомка, поддаваясь его движениям, трактовать кои как-нибудь иначе Николай Александрович не мог и, от неожиданности застыв на месте столбом, попросту зажмурил глаза.

– Да! Так! Именно! Кверху! Основанием дави на низ! Чувствуй плоть! Не останавливайся! Проникай глубже! Синхронизируй нервные токи! Консолидируй энергию! Ты и я – одно!

– Папа! – выкрикнул Александр Николаевич, не останавливаясь.

Николай Александрович открыл один глаз.

– Позволь! Представить! Тебе! – продолжал он выкрикивать в ритм движениям. – Княгиню! Веру! Игнатьевну! Данзайр!

В этот момент раздался хруст и представленная отцу княгиня, блаженно застонав, опустилась на пол в бессильной истоме.

– О, да! Ты великолепен! Благодарю! Ноги отнялись! Они всегда ненадолго отнимаются после этого.

Старший Белозерский уже открыл оба глаза и несмело подошёл поближе. Имя княгини было ему, разумеется, известно. Как и её подвиги. Несмотря на некоторую, если можно так выразиться, небрежность её костюма и позы, тем не менее она была тем, кем была. Она была княгиней! И нельзя было не соответствовать протоколу.

– Папа! Поверь, это не то, чем могло показаться!

Отец не посмотрел на сына.

– На войне оперировала сутками. Спину сорвала! – запросто объяснила княгиня с пола, где возлежала как в спектакле, в коем патрицианка взялась изображать гетеру и делала это со всем природным талантом. – Папироски не найдётся?

Николай Александрович достал портсигар работы Фаберже, раскрыл и, став на одно колено, протянул Вере Игнатьевне. Она взяла, после чего он поднёс ей зажигалку работы всё того же Петера Карла Густавовича. Вера блаженно затянулась, выпустила дым. И только после этого хозяин представился.

– Разрешите отрекомендоваться, Ваша Светлость! Николай Александрович Белозерский, купец первой гильдии.

Вера Игнатьевна отсалютовала зажатой между пальцами папироской.

– Могу ли я надеяться, что вы присоединитесь к нашему скромному семейному ужину?

Саша с удивлением уставился на отца. Будь он воспитан не строгим Василием Андреевичем, у него бы, пожалуй, челюсть отвалилась.

– О, да! Жрать охота просто зверски! – радостно откликнулась княгиня. – По-моему, последний раз я ела ещё в Москве.

Девчонка на столе шумно вздохнула.

– Смотри ты, живая!

Вера с неожиданной прытью вскочила на ноги и подошла к пациентке.

– Кхе-кхе! – раздалось громкое покашливание.

На пороге операционной стоял Василий Андреевич.

– Госпитальная карета изволила подъехать, сказали: по вызову ординатора Белозерского.

– Александр Николаевич, я попрошу вас не афишировать моё участие в инциденте! – Вера употребила слово «попрошу», но оно прозвучало приказом. Александр кивнул прежде, чем она окончила фразу.

Носилки из особняка выносили Александр Николаевич и Василий Андреевич. На козлах госпитальной кареты сидел Иван Ильич. Он непременно бы соскочил подсобить, но сейчас в этом не было нужды. Да и присутствие за главного Концевича его останавливало. Дмитрий Петрович вполне способен был указать извозчику его место. А Иван Ильич и без напоминаний своё место отменно знал.

Вокруг моментально образовались зеваки. Удивительная исконно русская традиция: появление концентрированной кучи из сочувствующих, любопытствующих и просто мимо проходящих. Раздавались возгласы:

– Буржуя убили!

– Роковая страсть! Купоросным маслом плеснули!

– А полиция где?!

– Где-где! Известно где! Дождёшься их оттудова!

Тем не менее слишком близко подойти опасались, и Александр Николаевич с Василием Андреевичем беспрепятственно устроили носилки в салоне кареты. Головной конец ловко принял Кравченко. Со всей возможной важностью Белозерский сообщил Концевичу:

– *Baby Doe!*

Ни один из молодых ординаторов не обратил внимания на то, как изменилось лицо Владимира Сергеевича, бросившего взгляд на дитя. Но он немедленно взял себя в руки.

– Неизвестный ребёнок? Мне передали: Белозерский на огнестрельное вызвал.

– Так пуля – дура, возраст не разбирает! – нарочито легкомысленно брякнул Белозерский.

– Диагноз? – тревожно и строго уточнил Кравченко, чем вызвал неудовольствие Концевича. Фельдшер поперёд врача вылез. И был прав. Врач первым делом поинтересуется именно этим.

– Диагноз? Ранение лёгочной аорты. Ушито.

– Камфору ввели?

– Да, конечно.

– Едем скорее, Дмитрий Петрович! – поторопил Кравченко.

Концевич уже забрался в салон и потому недовольно дёрнулся на очередное несоблюдение субординации фельдшером. Мало ли кто и кем был, в этой жизни имеет значение только то, что ты есть сейчас!

– Ушил?! Один?! У тебя в укладке саквояжа долото и ретрактор? – с язвительным сомнением поинтересовался Концевич.

– А... что такого? Пневмогемоторакс дренирован! Везти с особым вниманием и...

Кравченко закрыл двери, Иван Ильич мягко тронул, ибо уважал хворых, в особенности деток, страдающих из-за взрослых.

– Не мы, Клюква, рессора! Не мы и булыжник! Но мы с тобой, Клюква, мастерство! – ласково проговорил он лошадке. Та в ответ понимающе фыркнула и пошла аккуратно.

– Носилки тоже в саквояже были?! – удивился Концевич, только в карете сообразив, что госпитальные носилки так и остались притороченными.

Белозерский мухой вернулся в дом. Непонятно отчего, но ему не хотелось надолго оставлять отца с княгиней. Разумеется, не из ревности, глупость какая! Папенька никого не полюбит, кроме покойной маменьки. А лишь потому, что папа способен полностью завладеть вниманием княгини. В общем, Александр Николаевич вёл себя как малолетка.

– Расходимся, расходимся! Всё узнаем из утренних газет! – прикрикнул Василий Андреевич на поредевшую, но не схлынувшую кучу зевак. – Ну! Нечего! Не кукиш с маслом обрुчились!

Мелкий чиновник, явно сострадающий увезённой в госпитальной карете девочке и, видимо, уже знающий контекст: нет той русской деревни, где слухи бы ни распространялись стремительно, будь это хоть Петербург, мнящий себя холодным европейцем, – произнёс:

– С путиловской стачки не уймутся. Уже на им: свободу слова! Свободу собраний? Пожалуйста! *Habeas corpus!* А младенец, получается, прикосновенен?! Тьфу!

Стоящий рядом люмпен-пролетарий, не осмыслив сказанного, горячо откликнулся лишь на милое его душе и складу ума сплёвывание:

– Правильно! Так! Бить миллионщиков и семя их давить!

Чиновник, мгновенно смутившись, поторопился уйти. Но люмпену хотелось самовыражения. И он плюнул в Василия Андреевича, присовокупив:

– Упырь расфуфыренный! Хабеас корпус ещё какой-то!

Но увидав в руках у Василия Андреевича внушительный стек, коим он, судя по манере удержания, владел уверенно, быстро припустил по мостовой.

Николай Александрович проводил Веру Игнатьевну к дверям ванной комнаты. Разумеется, княгиня изъявила желание взять ванну, коль скоро приняла приглашение на ужин. Неловко садиться за стол в окровавленном тряпье, учитывая, что она в доме первый раз. Откровенно говоря, ей доставляло удовольствие подтрунивать над старшим Белозерским, которого легонько замкнуло на её княжеском достоинстве или на чём ещё, или просто сказывалась её манера насмешничать над манерностью.

– Вот, княгиня, собственно говоря, наши скромные термы...

– Благодарю, Николай Александрович, полагаю, далее я сама, если, говоря «термы», вы не имели в виду и прочую римскую парадигму.

Матёрый был уже не так шустр на окрашивание в маков цвет, как его сынишка.

– О, нет, конечно же! – рассмеялся он. – Не с вами! Не...

– Отчего же не со мной?! Я нехороша?

– Вы прекрасны, княгиня!

– Чем же я отличаюсь от прочих женщин?

– Вам, наверное, надо бы во что переодеться! – переменил тему опытный купчина Белозерский. – Да только у нас в доме нет ничего приличествующего вам. Женского.

Вдруг будто бы из ниоткуда появился Василий Андреевич со стопкой мужского платья.

– Прошу вас, княгиня. Вы с Александром Николаевичем одного склада фигуры.

Расхотавшись, Вера приняла стопку у заботливого батлера и скрылась за дверьми ванной комнаты.

– И тут не смог меня не сконфузить! Никак без этого! – бросил преданному слуге Николаю Александровичу.

Тот и бровью не повёл.

– Прикажете накрывать?

– Как? – язвительно всплеснул руками барин. – Неужто у тебя ещё не готово?! Или тебе сдались мои распоряжения?!

– Вам сцену накрывать? – по-прежнему никак не реагируя на иронию хозяина, уточнил Василий Андреевич.

– Уж изволь!

Ванная комната поражала роскошью и одновременно лаконичностью убранства. Термы, к слову, тоже имелись. Из ванной комнаты можно было проследовать в подвал, где располагался мраморный бассейн. В другое время княгиня с удовольствием оценила бы всё это. Поскольку, несмотря на то что она умела довольствоваться самым малым, как настоящая аристократка Вера Игнатьевна ценила комфорт и всё то, что можно приобрести, коли не стеснён в средствах.

Особняк Белозерских был создан Андреем Петровичем Вайтенсом. Николай Александрович уважал профессионалов и полностью им доверял. И никогда с ними не торговался, считая это ниже своего достоинства. Несмотря на то, что был купцом. А вот многие дворяне, владельцы олигархических состояний, рубились с архитектором за каждую копейку до кровавых соплей. До кровавых соплей самого архитектора, разумеется. Вспомнить хотя бы Николая Петровича Краснова, которого Юсуповы доводили до чудовищного заикания. А они были богаче императорской семьи, которой Краснов возводил Ливадию, и сам государь называл его удивительным молодцом, в отличие от мамыши Феликса Юсупова, доводящей светоча русской крымской архитектуры до нервных срывов.

В какое-нибудь другое время княгиня Данзайр с удовольствием бы оценила и конструкционные решения, и убранство, и поговорила об архитектуре, ибо была человеком всесторонне образованным. Но сейчас на неё вдруг навалилась та чудовищная усталость, которую испытывает человек на пределе возможностей, внезапно получивший краткую передышку. Так бывало на войне. Но сейчас же она вернулась в мирное время, в блестящий Санкт-Петербург! Так какого же дьявола она оперировала лёгочную аорту, травмированную огнестрельным ранением?! Пуля взорвала не грудь солдата на сопках Маньчжурии. Осколок металла, выпущенный из ствола, пробил хрупкую плоть малышки, сидевшей на руках у почтенного отца в дорогом экипаже, и всё это случилось в столице Российской империи!

Пустив воду, Вера сидела на краю мраморной лохани совершенно опустошённая и плялилась в стену, не имея ни одной мысли и не испытывая ни единого чувства. Когда ванна наполнилась, она скинула окровавленные вещи на пол и, опустившись под воду с головой, дала себе волю и заплакала. Она даже не почувствовала этого. И своей воли не почувствовала. Не было у неё сейчас воли. Зато была вода. Одна из самых почитаемых субстанций в синтоизме. И ярость ками<sup>5</sup> бессильна как перед толщей вод, так и перед каплей слёз.

К ужину Вера Игнатьевна вышла очищенной и обновлённой, как и положено настоящей аристократке.

---

<sup>5</sup> Духовная сущность, бог – в синтоизме.

## Глава VII

Сыскари моментально установили личность убитого. Он был довольно известным, видным лицом. Более ничего им выяснить не удалось, они и не особо старались. Нынче покушения и прочая смута стали делом обыденным. Интересным же в конкретном происшествии было вот что: кто и зачем утащил раненую девочку. Со сбивчивых показаний городского выходило: двое молодых людей, никак не похожих на возмутителей спокойствия. Один, судя по саквою и вслух заявленному, – и вовсе доктор. Возможно, в больницу поволокли, там искать и надо, а не то ещё и не надо, сама всплывёт. Правда, в тщательности сыщикам нельзя было отказать, они на измор опросили городского. Собрали всё, что можно было, включая плюшевую собачку, испачканную в стылой крови мертвеца.

В кабинете полицмейстера раздался звонок, имя алкающего связи с ним заставило вовсе не пугливого и не опасливого к чинам и званиям Андрея Прокофьевича встать и вытянуться во фронт.

– Разумеется, Ваше Сиятельство!

Такое титулование говорило о том, что звонил не меньше нежели князь или граф, впрочем, и это не имело никакого значения. Нынче Россией правили не титулы, но влияния. О влиятельности особы говорила манера полицмейстера, внезапно до отвращения подобоострастная. Хотя и не таков он был человек.

– Дело под моим личным контролем! Девочку разыщем живую или...

Он осёкся, проглотив прилагательное, готовое вылететь. Впрочем, собеседник прекратил разговор и не услышал ничего после «разыщем». Полицмейстеру приказывали, а не интересовались обстоятельствами, соображениями и заверениями.

Андрей Прокофьевич бережно опустил трубку и тяжело присел на стул. Некоторое время смотрел на карточку жены и детей, стоящую на столе. У самого трое, и младшая – ровесница пропавшей с места преступления. Это рвало ему сердце. Помрачнев, он треснул кулаком по столешнице. Фотография подпрыгнула и упала, это вызвало в суровом полицмейстере мистический ужас. Он вскочил, поднял её, расцеловал изображения детей, замутив дыханием стекло, прижал к груди и подошёл к окну. Вглядываясь в ночь, он испытывал бурю чувств. Иные из них можно было бы охарактеризовать как взаимоисключающие. Полицмейстер имел характер воистину русский.

Как известно, в нашей доблестной нации в кварто-квинтовых, большесептovo-тритоновых и прочих полиаккордовых сочетаниях гармонично сплетаются самые чудовищные свойства натур. Иначе как можно объяснить то, что Владимир Сергеевич Кравченко, отлично знающий, что за девочка перед ним, не бросился немедля уведомить её родных и близких, сходящих с ума? Впрочем, он в первую очередь сделал всё необходимое, дабы работа человека, чей профессиональный почерк он узнал, не пропала. Странный фельдшер обеспечил весь спектр неотложных лечебных мероприятий. После чего вышел во двор покурить и решился наконец сделать то, что должен: любым способом известить профессора Хохлова. Он затянулся и прислонился к стене. Иван Ильич, сидевший на перевёрнутом ящике и мастеровивший самокрутку, оглянулся на фельдшера с беспокойством. Он знал всех и вся, в момент подмечая любые изменения в окружавшем его тварном мире. Владимира Сергеевича явно что-то заботило.

– Палят, взрывают! Плохого им дядя императорский, Сергей Александрович, сделал?! Нет же, хорошего! Акциз уменьшил. Отставился, значит, ушёл человек от дел. Бабах! – в куски разметали!

Госпитальный извозчик говорил, потому что отлично знал: если у человека тревога – тишина не помощник. А у господина Кравченко была ох какая тревога! И даром что добро-

душный Иван Ильич не мог понять её природы, потому что тут было что-то сильнее, нежели боль о маленькой пациентке, но точно знал: молчать – плохо. Надо разговорить человека.

Во двор вошли студенты. Астахов, восторженный молодой человек, мечтающий о благе для всех, надрывно вешал:

– Нужда и нищета! Вот что приводит в нашу клинику! Не можешь деньгами – изволь расплачиваться телом!

Более рассудительный Нилов возразил товарищу:

– Но иначе нельзя учиться.

– Социалисты всё решат! – чуть не экстатически воскликнул Астахов.

– Как? – поинтересовался Нилов.

Насмешливо отозвался мрачный Порудоминский, стремившийся заслужить репутацию циника:

– Придёт Максим Горький к нашему Астахову и скажет: «Режь мне, Лёха, аппендикс, не тушуйся! Это ничего, что ты прежде скальпель в руках не держал. Не на нищем же тебе руку набивать, давай сразу на мне!» Гапон перед Алексеем геморроидальные шишки раскинет!

Студенты вошли в клинику.

– Скубент в ночное пошёл! – колюче заметил Иван Ильич. И так глубоко затянулся, что закашлялся до слёз. Это привело его в несколько воинственное состояние ворчания. – Не в то горло, чёрт их дери! Социалисты, глядь, решат! Лошадь – вот социалист! Вместе пашем, но правлю – я! Начни кобыла править – куда понесёт? Ежели, скажем, «в охоте» – то жеребца искать. А так просто от дури обожрёт посевы кругом – и в стойло! Коли в недоуздке – пузо надует. В удилах чудила – гортань до кровяни раздерёт.

На дворе появился профессор Хохлов. Лицо Кравченко изменила болезненная гримаса. Извозчик, приподнявшись с ящика, поклонился.

– Вы ж в театре быть должны, Алексей Фёдоровч!

Хохлов, едва кивнув, зашёл в клинику. Кравченко, выбросив окурок, последовал за ним.

– Вот! – обратился Иван Ильич к ночному небу. – День и ночь на ногах! Профессор наш и кобыла моя – социалисты. А не эти, что языками метут. Ежели б они ими, скажем, мостовые мели, так хоть чище бы стало.

Кравченко уже готов был сказать профессору чудовищно страшное, но и чудесно освобождающее, как из палаты навстречу им выскочил Концевич и, не глядя на отчаянно сигнализирующего взглядом Кравченко, точнее: решив его не заметить, – выпалил:

– Доброй ночи, Алексей Фёдорович! *Baby Doe*, женского пола, предположительно семи лет. Огнестрельное. По вызову из особняка Белозерских. Уложили в сестринскую. Девочка, очевидно, из дворян...

Не дослушав, профессор кинулся бежать по коридору в сторону сестринской. За ним устремился Кравченко, не изволив одарить Концевича укоризной. Формально: не за что. Что важнее: без толку.

В сестринской на кушетке лежало дитя. Повязка на груди пропиталась кровью. Дыхание было почти неслышным, но оно было! Рядом сидела Матрёна Ивановна и, держа крошку за ручку, истово молилась, несмотря на то что считала, что на небе никого нет. Может, и не надо им быть на небе. Кому «им», Матрёна не ответила бы. Непосредственно боженьке Матрёна давно не адресовала чаяний. У неё имелись на то серьёзные основания. Но она всё ещё оперировала просьбами к своей святой. Та, может, по-бабски подсобит, как однажды подсобила. Надёжней. Что на земле, то и на небе. Через знакомых, родню, кума и свата – оно надёжней, значит и через ангела-хранителя – тоже.

– Блаженная старица Матрона, попроси Господа Бога нашего Иисуса Христа о здравии чада. Избавь дитя от немощи. Отринь хворь телесную...

В сестринскую ворвался профессор Хохлов и упал перед кушеткой на колени.

– Соня! Сонечка! Софья Андреевна!

Он осыпал маленькую ладошку поцелуями, не замечая, что лобзает и руку Матрёны, ибо схватил их вместе, как застал.

– Жива! Нашлась! Слушать!

Концевич снял с шеи фонендоскоп и подал Хохлову. Кравченко стоял мрачнее тучи. Несколько минут назад он выслушал и проекцию сердечного толчка, и клапаны – аортальный и митральный, и лёгкие девочки. Но Алексею Фёдоровичу надо было себя занять, от бездействия человек лишается рассудка.

– Что ж вы не позвонили мне?!

– Владимир Сергеевич телефонировал! Так вы в театр поехали, а перед ним в ресторацию собирались, ваша горничная доложила! – резво выступила Матрёна Ивановна.

Продолжительное время будучи старшей сестрой милосердия в этой клинике, она знала, что гнев патрона надо гасить в зародыше. Ибо любой гнев бессмыслен и беспощаден и падает чаще всего на невиновных, а ещё чаще – на тех, кто помогает и спасает. Профессор медицины Хохлов и сам был отменно знаком с этим несправедливым законом бытия, но в конкретной ситуации было слишком много личного. Девочка приходилась ему родной племянницей, дочерью младшей сестры.

Взгляд Алексея Фёдоровича упал на Концевича.

– По вызову из дома Белозерского? Что за чертовщина?!

Хохлов подскочил с нехарактерной для него лично – что уж говорить о звании – прытью.

– Её мать сходит с ума! Я сейчас! Вы – неотрывно! Неотлучно! Он выскочил в коридор.

Матрёна Ивановна с достоинством кивнула. Концевич преспокойно пошёл на выход. Этот молодой человек прежде всего взял за правило постулат о непринятии близко к сердцу чужих страданий. Кравченко остался при девочке. Его мучила мысль, и мысль эта была во спасение Сонечки, но в отрицание всех современных норм и правил. Он не мог решиться. Не потому, что боялся последствий для себя. Владимир Сергеевич был человеком бесстрашным. Его разрывали сомнения на предмет исхода спасительного метода для маленькой пациентки, ибо метод сей мог оказаться как чудесно исцеляющим, так и смертельным.

Хохлов первым делом позвонил в дом сестры. Жена его находилась там же.

– Да-да, нашлась! Живая!

Профессор болезненно скривился. В трубке слышна была женская суета, перед которой он обессилевал. «Живая!» – это не ложь. Но он леденел перед необходимостью разьяснять подробности. Он немного отодвинул трубку от уха. Следовало прервать поток слов.

– Не могу привезти домой! Надо понаблюдать! – сурово сказал он. Но тут же его лицо изменилось, и профессор стал похож на перепуганного мальчика. – Нет-нет-нет! – заголосил он в трубку. – Ни в коем случае, о чём ты думаешь?! Лидочку в её состоянии сюда нельзя! Не смей! Настойки опия ей в чай! Почему до сих пор не сообразила? – раскричался он, и это вернуло его в норму. – Всё! Сидеть при Лиде неотлучно! Я сообщу!

Он с силой бросил трубку и, вновь подняв её, принялся яростно вращать ручкой.

– Немедленно соедините с домом купца Белозерского! – заорал он на неповинную барышню так, будто она явилась на показательный экзамен по анатомии, не имея ни малейшего понятия о том, что такое остеология.

## Глава VIII

Великолепной дубовой столовой особняка Белозерских ужин подходил к концу. Василий Андреевич зорко следил за тем, чтобы всё было в соответствии с буквой этикета. И хотя Вера Игнатьевна иногда нарушала эту букву, на неё он не сердился. Ибо и старый лакей вслед за старшим хозяином был очарован княгиней и про себя именовал её не иначе, как «белокурой бестией». Вслух бы он никогда не позволил себе такого. Да и труд Ницше «К генеалогии морали. Полемическое сочинение», вышедший в 1887 году и, конечно же, прочитанный Василием Андреевичем, он находил пошлым абсолютом беспредметного словоблудия. Но *die Blonde Bestie* запало в душу, ибо отсылало к первобытным немецким варварам с мощными витальными инстинктами, скитающимися в поисках добычи и победы. Ницше считал их первыми аристократами. Василий Андреевич не мог с ним не согласиться, так как сам был поклонником норманизма и вслед за Карамзиным, опиравшимся на серьёзные исторические источники, полагал, что народ-племя русь происходит из Скандинавии.

Василий Андреевич изучил множество работ по варяжскому вопросу, но если он был не согласен с Ломоносовым или Третьяковым, то даже возрази они ему самолично, при всём уважении он бы не разделил их точку зрения. Так что, называя про себя Веру белокурой бестией, Василий Андреевич всего лишь утверждал очевидное: она белокура, она русская, она аристократка. Львица! Хотя слишком придирчивые книжные черви могли бы возразить, что лев по латыни всё-таки *flava bestia*, а вовсе не *blond* и что зануда Ницше крайне нетщателен в фонтане чрезмерной словоохотливости, ведь он прежде всего филолог, а в философы себя самоназначил! На что Василий Андреевич возразил бы, что несмотря на то, что ему лично не нравится Ницше, он всё же не случайно и не по небрежению изменил слова. Зануда-немец именно что намеренно и довольно изящно слил воедино льва с представителями высшей расы. К счастью, с Василием Андреевичем никто не вступал ни в философические, ни в филологические, ни в исторические баталии.

– Вы понимаете, что ваш мальчик нарушает Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, играясь в доктора на дому? – обратилась Вера Игнатьевна к хозяину дома, игнорируя присутствие Александра Николаевича.

Василий Андреевич внутренне сгруппировался. Это был больной вопрос. Прежде всего для него самого, потому что Сашку он любил как сына. Белокурая бестия рискует, даже ей этого не спустят.

– Я не мальчик! И я – не играюсь! – обиженно воскликнул Сашенька.

На него никто не обращал ни малейшего внимания. Николай Александрович и Вера Игнатьевна буравили друг друга жёсткими взглядами. Вера не отводила взор, не выпуская из рук столовый нож, который уже следовало положить на тарелку. Ещё и провёртывая его в ладони эдак заливчатски! Будь это не княгиня Данзайр, у Василия Андреевича начался бы приступ мигрени. Но ей можно всё, он это покорно принял.

– Понимаю! – холодно ответил Николай Александрович.

Положив нож, Вера встала, самостоятельно отодвинув стул, подошла к Николаю Александровичу и запросто поцеловала его в щёку. Тот расцвёл, как деревенский хулиган, впервые сорвавший поцелуй у первой красавицы.

– Вы – замечательный отец!

Вера Игнатьевна вернулась на место.

– Я – взрослый мужчина! Я – врач! Я – хирург! – надрывался Саша.

Василию Андреевичу было бы немного жаль своего питомца, кабы ни было так смешно. Чего, разумеется, ни в коем случае нельзя было показывать.

– То есть нам сегодня оказала честь та самая Данзайр! Женщина-легенда! Председатель общества врачей передовых дворянских отрядов! Сяочиньтидзы, Гудзяодзы, Фушинские копи, медаль «За усердие» на Аннинской ленте, на Георгиевской – «За храбрость»! – Николая Александровича вдруг понесло в натуральном купеческом угаре.

– Десерт будет? – прервала поток Вера Игнатьевна.

Хозяин подскочил со стула, уронив салфетку, и тут уж Василий Андреевич не мог его винить. Это был коронный выход купца.

– Вера Игнатьевна! Вы в доме Белозерских! Лучшие десерты империи! Василий Андреевич!

Он за локоток потащил дворецкого на выход, потому как Василий Андреевич старался всё-таки сохранять степенность хода. А у хозяина так свербело, что он пытался сорваться на бег. Надо сохранять достоинство! Тем более всё уже готово к спектаклю, разве что костюм надеть.

– Мы мигом! – обернулся старший Белозерский от дверей и подмигнул Вере, как мальчишка.

Вера и Александр остались вдвоём.

– В голове не помещается! Данзайр! Сама судьба свела нас!

Она в ответ одарила его насмешливым взглядом. Поперхнувшись, Александр Николаевич решил изобразить внимательного молодого лекаря, обращающегося за наставлениями к человеку более опытному.

– Я только в начале пути. Мне не дали возможности получить таковой опыт...

Кажется, он снова сбивался не на ту ногу. Вера смотрела на него заинтересованно. Как сытая кошка на лабораторную мышь.

– Я не о том. Вы тоже так молоды...

– Не так! – вставила Вера ласкательно.

– Столько всего надо уметь! Столько чувствовать! Вера Игнатьевна! Я...

Он хотел выразить что-то горячее, важное, единственно возможное. Но вместо этого из его уст вылетела пошлейшая тирада, которая и студенту в аудитории непростительна:

– Скажите, какие книги нужно прочесть, чтобы стать хорошим врачом? Я глотаю всё подряд, но в океане без опытного штурмана...

– Вы читали сочинение господина Вересаева? – колко перебила Вера.

– Да-да, конечно, мы выписываем «Мир Божий», как только стали выходить, так и прочитал. Но этот так называемый доктор опорочил своими непростительными записками...

– Этот великолепный человек прошёл Русско-японскую войну! – наотмашь рубанула княгиня. – Не дискредитируйте себя, слепо доверяясь чужим поверхностным мнениям. Ничего и никого он не порочил, а написал правду! Но я спрашивала не поэтому. Читай вы внимательнее труд Викентия Викентьевича, вы бы знали, что я вам порекомендую.

– Что? – опешил Саша.

– «Дон-Кихота». Это очень хорошая книга. Для любого врача.

Нарастающий темпом и накалом диалог был прерван вернувшимся хозяином дома и его верным оруженосцем.

Николай Александрович был торжественно великолепен: в белоснежном двубортном поварском кителе, чистоты снежных вершин фартуке, шейном платке и высоком колпаке. Теперь не только на Василии Андреевиче, но и на нём были белые перчатки. Хозяин сам вкатил передвижной столик-поднос с установленной на нём газовой горелкой, верный слуга был снабжён идентичным – всякой необходимой утварью и продуктами.

– Любимое папино представление! – шепнул Вере Игнатьевне Александр Николаевич.

Вроде и тон его был шутлив, и пытался он казаться взрослым, но Саша смотрел на отца с обожанием, с детским восторгом, замирая, будто в ожидании чуда. Видно, не только старшему Белозерскому сие представление было любо.

Хозяин установил на огонь сковороду.

– Василий Андреевич!

Тут же на деревянном подносе материализовались слезящееся сливочное масло и нож. Мастерски отмахнув невесомый фрагмент субстанции, Николай Александрович едва уловимым мановением руки отправил его на раскалённую поверхность. Поднос немедля уплыл, и на его месте тотчас показался другой, с разделёнными на половинки абрикосами.

– Маньчжурский дикий абрикос! Твёрдой острой зрелости! – возвестил шеф-повар и ловко послал его в растопленное масло.

– Коричневый тростниковый гранулированный сахар и никакой иной!

Василий явил сахар. Обсыпав им шипящие промасленные абрикосы, Николай Александрович легко поворошил их деревянной лопаткой, поданной Василием так вовремя и так справно, как подаёт хирургу инструментарий давно сработавшаяся с ним, старая, проверенная операционная сестра милосердия. Вера Игнатьевна, увлечённая действием, с детским восторгом, каковой изредка случается со взрослыми, много повидавшими людьми, только на Рождество или на Пасху, искренне ахнула:

– Какая слаженная бригада!

Александр Николаевич так возгордился, будто не папа, а он сам сейчас творил волшебство кулинарии. Но, опомнившись, он эдак ласково махнул рукой и молвил, стараясь, чтобы не звучало слишком влюблённо:

– Папаша совершенно одержимы!

Прodeгустировав аромат и сделав оперно-утрированную маску: «Чего же не хватает?», – Николай Александрович воскликнул:

– Имбирь!

В то же мгновение с поданного подноса смёл тончайшие пластинки заморского корня туда же, в сковороду. И легчайшими движениями перетряхнул.

– Добавляет неуловимой лимонной горечи, без которой жизнь – тщета и суесловие!

Аромат доходчиво подтверждал его слова.

– Если эдемский сад существует, пусть в нём пахнет именно так! – шепнула Вера Саше, потому что в такие мгновения невозможно не поделиться восхищением с ближним своим.

– Папа сегодня в необычайном ударе! Я бы сказал: в двух шагах от угара.

– Фламбируем! – как раз воскликнул отец.

Василий подал откупоренную бутылку коньяка, следом полуоткрытый коробок спичек. Оросив десерт лучшей марочной продукцией *Appellation d'Origine Contrôlée*, хозяин чиркнул спичкой, и поверхность сказочного озера запылала. Княгиня не смогла удержаться от аплодисментов и возгласа:

– Высший шик...

– ... кавалергарда – отсутствие всякого шика! – подхватил старший Белозерский и, нарочито потупившись, моментально загасил пламя, едва коснувшись его крышкой.

На столике Василия, на подносе, уже стояла хрустальная креманка мальцовского завода с белоснежным мороженым великолепной консистенции. Николай Александрович щедро облил его абрикосовым соусом, не пролив ни капли, и присовокупил несколько абрикосовых половинок. Василий Андреевич торжественно преподнёс десерт Вере.

– Немедленно! Пока лёд и пламень не сошлись! – разразился громовым раскатом Николай Александрович и ревниво напрягся, с фанатичной настороженностью ожидая вынесения вердикта.

Княгиня попробовала и изобразила высшую степень блаженства, ничуть не лукавя.

– Это выше всяких похвал! Это лучше всего, что я пробовала! «Везувий на Монблане», поданный мне в Италии, просто ничто перед вашим шедевром!

Старший Белозерский получил, что хотел. Он представлял сейчас собою смесь куда более насыщенную и противоречивую, нежели ваниль и корица, ром и сливки, жгучий перец и мята душистая. Он был размерен в огне страсти, гордился и умилялся, наблюдая, как блаженная нега проявляется на Верином лице.

– А мне? – подал голос сынишка, о котором все, признаться, вовсе позабыли.

– И мне добавки! – потребовала Вера.

Василий подал.

– Фирменный пломбир Белозерского сыновей с карамелизированными абрикосами! – объявил Александр Николаевич, сняв изрядную пробу.

– Этот десерт – имя собственное. «Абрикосов»! Белозерского здесь нет! – торжественно объявил Николай Александрович, получавший, казалось, не меньшее удовольствие от наблюдения, чем Вера и Саша – от поглощения.

Вероятно, это и есть высшая улада творца – наслаждение востребованностью творения рук своих. Николай Александрович не был исключительно администратором дела пращуров, экономистом, финансистом и управляющим. Он любил свою кондитерскую империю, потому что вслед за предшественниками созидал её собственными руками не только метафорически, но и самым древним и проверенным способом – буквально.

В дверях столовой появилась встревоженная горничная. Василий Андреевич шагнул к ней, и та зашептала ему на ухо.

– Мне нельзя сказать?! – возмутился хозяин.

Горничная никак не отреагировала, преданно уставившись на дворецкого. Кивком тот отпустил её, и она с облегчением упорхнула.

– Видали, княгиня? – призвал Николай Александрович в свидетельницы Веру, окончательно завоевавшую его симпатию и доверие истовой увлечённостью десертом. – Завёл порядки, держиморда! Я для них прозрачный! Василий!

– Александр Николаевич! Из госпиталя! Срочно! – таким зычным голосом объявил Василий Андреевич, что все невольно вздрогнули.

– Господи, чего ж ты так орёшь! – выдохнул Николай Александрович.

– Профессор Хохлов изволили гневаться в не слишком присущих ему крепких выражениях. Велели прибыть безотлагательно.

В глазах отца мелькнули лукавые огоньки. Он был явно не против спровадить сына из дома.

– Ты ещё здесь?! – уставился он на младшего. – Начальство требует. Пошёл! Василий Андреевич! – мягко, уже не выговаривая «держиморде» за учреждённую в доме неукоснительную «вертикаль власти», обратился хозяин к слуге: – Кофе нам с княгиней подай в курительную.

Александр Николаевич поднялся и глядел на папашу в растерянности.

– Дуй в свою лавку на всех парах! – припечатал родитель.

Саша направился на выход, и старшему стоило немалых усилий не придать ему ускорения старым дедовским способом. Василий Андреевич предупредительно распахнул двери и вышел следом, прикрыв за собой.

Оставшись наедине с княгиней, Николай Александрович вдруг пришёл в давно забытое юношеское смущение. Что было уж совсем нелепо, в особенности после его триумфа. Он совсем забыл, как вести себя с женщинами не только красивыми, но и умными, не только умными, но и с характером. В общем, не с теми, что за деньги. И не с теми кутящими барыньками, стоящими на самой границе между светом и полусветом.

Николай Александрович, признаться, жуировал в Петербурге по разным увеселительным садам, изредка, хотя и щедро, вознаграждая себя за безысходность вдовства, но это были дела всё исключительно плотские. Девушек и почтенных молодых вдов он бежал, и бежал часто, потому как завидный был жених, и многие годы на него велась охота, и жестокая. Но интереса к насаждаемым на ярмарке невест он не испытывал и не то что сочетаться браком, а даже и ближе знакомство водить не имел желания. Не вызывали ни чувств, ни даже волнения. Сходиться, не любя, считал глупым и преступным. Да и здесь ни о какой любви речи, бог свидетель, быть не могло ни сейчас, ни впредь! Но как с женщиной, с великолепной женщиной, вызывающей восхищение, вести себя на равных, совсем позабыл. Порастряс себя, голубчик, порядком! Как же это, чёрт?!

Заметив, что Вера Игнатьевна окончила трапезу и смотрит на него прямо и открыто, бросая спасательный круг этикета, он подошёл и взялся за спинку стула.

– Прошу вас!

Она поднялась, глянув на него с понимающей улыбкой.

– Я тоже подзабыла, как ведут себя дамы и господа, Николай Александрович. На войне всё больше товарищи, в лазарете – раненые. Давайте ошибаться вместе!

– А давайте!

Он вдруг опомнился, что в поварском колпаке. Быстро сдёрнул его и взъерошил густые волосы. Этот естественный жест как-то запросто всё вернул на круги своя. И они отправились в курительную.

## Глава IX

На заднем дворе клиники на ящике восседал госпитальный извозчик. Чего греха таить, он принял хлебного вина, потому что душа у Ивана Ильича болела. Не имея ни малейшего понятия о фантомной боли, он знал некоторые механизмы её облегчения. Словосочетание «эмпирически познаваемое» он, пожалуй, счёл бы скверным, а вот что забубнить иное страдание можно – это знал давно и крепко. Сейчас разговаривать было не с кем, но ему было не привыкать вести долгие беседы с Клюквой, а коли скотина заслуженно отдыхает, так и с самим собой. А уж если русский человек выпьет, то о чём погутарить с альтер-эго – завсегда найдёт. Иван Ильич вспоминал былое, дабы отвлечься от дум.

– Был я ванькой! – загнул он мизинец, пожевав губами. – Был и лихачом! – широко раскинул руки, забыв, что решил провести строгий учёт на пальцах. – Теперь вроде как живейный. При государственной должности! – извозчик высоко поднял указательный перст. – Городовому мзду – не обязан! – скрутил он кукиш.

Скорым шагом подошёл ординатор Белозерский. Был он в немалом волнении, кое старался скрыть.

– Всё рассуждаешь, Иван Ильич?

– Как же человеку без этого?! – с готовностью откликнулся извозчик. – Сколько нонче лаковая пролётка с ветерком дерёт?

– Трёшку.

– Ох ты!

Иван Ильич покачал головой. Выражение его физиономии было многосложное.

– «Пиастры, быть может, сделают их ещё несчастнее!» – процитировал Александр Николаевич.

– Не знаю, не знаю, – всё мотал головой извозчик. – Не знаю, как пилястры, а три рубли от колон театру по городу – это при всех поборах авантаж выходит...

Извозчик зашевелил губами, одновременно загибая пальцы, прикидывал сальдо, останься он «лихачом».

– Ты, Иван Ильич, не злоупотребляй! – Белозерский щёлкнул пальцами по горлу. – Не то турнёт тебя Хохлов с «государственной должности»!

– Я меру знаю! Лексей Фёдорыч – добрейшей души человек и завсегда с пониманием к мере. Хотя сейчас – туча! Свояка в луже кровищи нашли уже, значить, мёртвым. А племянницу...

Тут Ивана Ильича, по всей видимости превысившего свою меру, наконец осенило. Он вскочил, пуча глаза:

– Мы ж её-то, племянку, Сонюшку, от вас, значить, и забирали!

Ординатор Белозерский быстро нырнул в дверь и побежал по коридору, сердце его колотило громче каблуков, отбивающих по паркету. Разумеется, он уже понял, что повёл себя как безответственный человек. Попросту непозволительно для врача. Он сам должен был сопроводить маленькую пациентку в клинику и находиться при ней неотлучно! А он, ослеплённый Верой, не желая отходить от своей грёзы, внезапно воплотившейся, перебросил раненую... Пусть, передоверил – заботам дежурных. Но бог ты мой, он и понятия не имел, что она – племянница профессора! Нет, так ещё хуже! Значит, будь она сиротой, нищенкой... Кругом повёл себя отвратительно, омерзительно, поганно, из рук вон!

Запоздалое раскаяние и трудно поддающаяся систематизации буря чувств сейчас взрывали его крошки-органы, расположенные над почками, и перегревали «мотор», поскольку он был сыном своего отца, в точности унаследовавшим чувственность, гневливость, совесть и нежнейшую доброту родителя.

Профессор Хохлов мерил шагами кабинет, чувствуя себя ничуть не лучше молодого идиота, своего ученика. Но всё же, будучи более опытным и зрелым, он заставил себя прийти хоть в какое-то подобие взвешенных реакций. Сев за стол, он переплёл ладони, уткнулся в них лбом и постарался занять голову тем, что давно не совершал осмысленно. Молитва для него утратила суть, особенно не видел он необходимости молиться в праздной толпе привычных ритуальных воскресных служб, на которые и попадал-то, признаться, нечасто, обременённый в первую очередь профессиональным долгом. Но, в конце концов, молитва – это вхождение в резонанс с миром, успокоение внутренних вихрей, мешающих мыслить и действовать во благо.

– Отче наш, иже еси... Прости, что так долго с тобой не разговаривал, яко же сам не люблю досужие беседы...

Алексей Фёдорович вскочил.

– Чем бормотание тут поможет?!

Купец Белозерский подзабыл, как ухаживать за достойными дамами. Доктор Хохлов никак не мог вспомнить, как подобает обращаться к Богу. Два великолепнейших человека вдруг оказались бессильными перед элементарными практиками. Как такое могло случиться?

– Всё – скверна и суета! Мы стали скверны в суете своей и суетны в скверне!

Профессор Хохлов метался и бормотал, и это суетное скверное бормотание действительно ничем не могло помочь. В отличие от молитвы.

Матрёна Ивановна не оставляла молитв, сидя у маленькой Сони, крепко держа её за ладошку. Неизвестно, куда поступала её молитва – на немедленное рассмотрение или в долгий ящик, но успокоительный ритм её певучего голоса проникал непосредственно в восприятие Сони. И хотя нейрофизиология и находилась ещё в зачаточном состоянии как наука, но как искусство она издревле была познаваема эмпирически, и плох был тот шаман, что не умел добиться отклика колебательной системы на периодическое внешнее воздействие.

Соня всё ещё была в беспомощности, но дыхание её стало ровнее, хотя и более поверхностным. Пульс стал чаще и менее напряжённым. Всё это заставляло Владимира Сергеевича Кравченко быстрее определяться. Но он медлил, неотрывно держа мембрану фонендоскопа на крохотной груди. Как будто это могло отменить необходимость принятия непростого решения.

– С детских именин вёз, – шепнула Матрёна Ивановна, с тревогой глянув на Кравченко.

Похоже, её слова не имели целью нести смысловую нагрузку. Просто старшая сестра милосердия не привыкла видеть господина фельдшера в такой мятежной чувствительности, причина которой ей была неясна.

– Хорошо, Хохлова насилу вытолкали! Родных не пользуют!

Всё это она говорила в молитвенном ритме, так же, как и Иван Ильич: попросту заговаривая смятение.

Есть такие люди, в присутствии которых никогда не страшно. Именно таков был Владимир Сергеевич Кравченко. И когда вдруг богом данную крепость и цельность их характера и силу сердца окутывает туман неопределённости, тут уж у окружающих начинается такая морская болезнь, что ой-ой-ой!

– Сонечкин отец хороший человек был, – подала голосок присутствующая Ася. – В Верховном комитете помощи оставшимся без кормильцев состоял. Я знаю. Он мне помог как сироте...

Она тайком промокнула глаза. Матрёне Ивановне стало полегче. Есть на кого прикрикнуть. Есть не только те, кто отвечает за тебя, а ещё и те, за кого в ответе ты. Это всегда выравнивает.

– А плохих что, не иначе как убивать?! – возмущённым шёпотом всё ещё в молитвенном ритме накинулась она на Асю. И, тут же остыв, с горечью добавила: – Они разве разбирают? Хороша одёжа – плох человек, вот у них всего и понимания.

– Владимир Сергеевич, как Сонечка? – шепнула Ася.

Кравченко молчал. Он снова принялся проверять пульс на запястье правой ручки девочки и у каротидного синуса. Асимметрия кровотока нарастала. Нужно действовать.

Матрёна Ивановна поднялась. Она почувала, что фельдшера стоит оставить одного при Сонечке.

– Ася, пойдём! Работы полно. У нас в клинике не один почётный пост у профессорской племянницы! Владимир Сергеевич и без нас управится.

Сестра милосердия покорно двинула за патронессой, изо всех сил стараясь не пустить слезу.

Тем временем Иван Ильич ночью во хмелю, устав от повисшего в воздухе тягостного напряжения, решил разобраться с каретной рамой. От бессилия и невозможности помочь русского мужика может спасти только какое-нибудь занятие. Сперва он мрачно созерцал. Затем пнул её, пребольно ударившись и запрыгав на одной ноге, зашипел:

– Крепкая, зараза! Аглицкая вещь! Лес-то наш поди? А то как же! Лес, он что? Сам растёт. Приходи да бери. А вот чтоб самим так пообтесать да склепать – руки коротки!

Ординатор Белозерский остановился перед профессорским кабинетом. Сердце было на дне желудка. Он постучал, а точнее поскрёб, словно нашкодивший гимназист, ненавидя себя.

– Войдите!

Он вошёл. Не приветствуя его, Хохлов проорал:

– Где она?!

– Кто? – опешил Саша.

– Ты в увеселительных заведениях рассказывай, что с лёгочной аортой справился!

Совершенно глупо, как ребёнок, обрадовавшись тому, что его, похоже, не поставят в угол, по крайней мере не сразу, Сашка Белозерский затараторил:

– Алексей Фёдорович, это совершенно невероятное совпадение...

– Где она? – перебил Алексей Фёдорович, вперивши в ученика прожигающий взгляд.

– У нас дома, – пробормотал Саша.

Схватив шляпу, профессор направился к двери. Белозерский за ним. Хохлов резко обернулся:

– Мальчишка! Врачи пациентов не бросают!

Молодой болван Белозерский был раздавлен. Не словами – презрением, с которым они были высказаны. Презрением заслуженным. Если бы от стыда действительно сгорали, Александр полыхнул бы не хуже рома в десерте «Везувий на Монблане». Внутри у него как раз заледенело. Подобно озеру Коцит в Девятом кругу дантова ада, предназначенного для предавших доверившихся.

Но он не сгорел, не замёрз. Лишь на ватных ногах отправился к маленькой девочке с простреленной грудью. В голове вертелось из «Божественной комедии»:

Мы прочь пошли, и в яме я узрел Двоих замёрзших так, что покрывает Глава главу – мучения предел!<sup>6</sup>

Иван Ильич отделил каретную раму, применив рычаг. И хотя добрый госпитальный извозчик не был знаком с трудами Архимеда, но методологический принцип: «Будь в моём распоряжении другая земля, на которую можно было бы встать, я сдвинул бы с места нашу» – был ему известен. Хотя и не в редакции

Опытная рука Данзайр, вооружённая хирургическим акушерским инструментом, вошла в матку Стеша, чтобы облегчить мучения матери. Нерождённый младенец уже был на небесах. Лара Плутарха. Ивану Ильичу, пожалуй, по вкусу пришлось бы более поздняя формулировка Диодора Сицилийского: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но скажи ему

---

<sup>6</sup> Цитируется в переводе Д. Е. Мина, русского врача, поэта-переводчика, профессора и проректора Московского университета, действительного статского советника.

сам Архимед: «Усилие, умноженное на плечо приложения силы, равно нагрузке, умноженной на плечо приложения нагрузки, где плечо приложения силы – это расстояние от точки приложения силы до опоры, а плечо приложения нагрузки – это расстояние от точки приложения нагрузки до опоры», – госпитальный извозчик попросил бы древнего грека не выражаться. Как управляться с мотыгой, веслом и любой годной оглоблей, коей можно что-нибудь сковырнуть, применив мускульную силу, он и сам отлично соображал. Для большей ясности плана извозчик ещё употребил и теперь предавался излюбленному занятию: развлекал себя беседой.

– Торопиться, значить, не надо. Поспешишь – людей насмешишь! Вот курнём и...

Из клиники вышел Хохлов:

– Срочно ехать!

Однако увидав последствия рьяного хозяйствования Ивана Ильича, он мотнул головой, скидывая наваждение, и скорым шагом пошёл прочь со двора.

– Телегу разве могу запрячь, Алексей Фёдорович! – крикнул вслед Иван Ильич, разводя руками.

В жестах, мимике, взгляде и голосе извозчика были и шутовство, и сострадание, и укоризна, и вина. Этот крепчайший замес был совершенно искривлен и чист.

Кравченко решился. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ни ему, ни маленькой девочке. Если он не примет решительные меры, Соня умрёт.

В сестринскую побитой собакой втащился Белозерский.

– Доброй ночи, Владимир Сергеевич! Как... пациентка?

Ему было чудовищно стыдно, и последнее слово далось с трудом.

– Вы читали работы Ландштейнера?

– Да. Красивая теория.

– Это не теория, Александр Николаевич. Соне плохо. Очень плохо. Она умирает. Надо лить кровь.

– Почему не льёте?

– Хохлов запретил. Потому что это его племянница. А мы переливаем кровь по Филомафитскому-Орловскому.

– Каменный век! – с чрезмерной горечью констатировал Белозерский.

Фельдшер пристально посмотрел на ординатора. Его взгляд говорил: «Хватит упиваться стыдом, ошибками; соображай быстрее!» Но Александр Николаевич никак не хотел соображать, и Владимиру Сергеевичу пришлось подстегнуть его:

– И наша признанная, одобренная, законная, более полувека используемая метода...

Белозерский подпрыгнул. Наконец-то в его потухших глазах загорелся огонёк.

– Как в американскую рулетку играть! Но если в соответствии с законом о изогемагглютинации Карла Ландштейнера, то...

Фельдшер кивнул, но немного охладил пыл молодого ординатора, высказав сомнение, тревожащее более всего его самого:

– Который не является законом, но лишь предположением...

– Не единожды подтверждённым предположением!

Вот чего не хватало Владимиру Сергеевичу. Пылкого единомышленника. Или в данном случае уместней выразиться – соучастника. Белозерский уже закатывал рукава.

– Де-юре я фельдшер, Александр Николаевич. Вы врач де-факто. Но в любом случае мы оба – преступники. На снисхождение можно надеяться только при благоприятном исходе. Вы можете покинуть меня, потому что я уже решился.

– За кого вы меня принимаете?

Белозерский подошёл к инструментальному столику. Владимир Сергеевич улыбнулся, но, подойдя следом и тронув его за плечо, снова стал серьёзен.

– Александр Николаевич, сосредоточьтесь! Вы должны отдавать себе отчёт в том, что не руководствуетесь голым энтузиазмом и что не я подтолкнул вас. Я не бегу ответственности и никогда не бежал, но, если вы останетесь, формально ответ держать вам. Вы это полностью осознаёте?

Белозерский глянул на Кравченко и поначалу хотел обрушить на него праведный гнев, но фельдшер смотрел так, что... Саша будто впервые увидел белую как полотно маленькую девочку. И до него внезапно в полной мере дошло, что от его решений и действий зависит: жизнь или смерть.

– Да-да, Александр Николаевич! – Кравченко мягко кивнул. – Это не азартные игры наших разумов, не восторг от экспериментов. По сути мы ни над чем не властны. Есть только попытка с призрачной надеждой на успех. В случае неудачи – вина на нас. Не формальная вина. А та вина, что будет разъедать нас изнутри похлеще щёлока. Это прекрасно, что у вас столь сильный момент осознания себя врачом, возможно, первый, но отнюдь не последний, поверьте мне. И если вы всё ещё в смятении, то просто сдайте кровь на пробу, так больше шансов ровно в два раза, нежели от меня одного. Я всё сделаю сам...

– Я проведу переливание. Соня – моя пациентка!

Это было сказано твёрдо, без эйфории, без контаминаций состояния героикой. Они пожали друг другу руки, и Владимир Сергеевич тоже закатал рукав.

Профессор Хохлов размашисто шагал сквозь ночной город. Ни единой мысли не было в его голове, только бешено колотилось сердце, и было одно стремление – как можно скорее добраться до княгини Данзайр. В этом не было никакого смысла, теперь она ничем не могла помочь его племяннице. Но почему-то ему надо было к Вере. Будто если он доберётся до неё, то и с Соней всё будет хорошо. Вера Игнатьевна уже сделала для Сони всё, что могла, и больше бы не смог даже господь бог! Зачем же он, профессор Хохлов, чеканит маршем мостовую, направляясь в особняк Белозерских? Видимо, ему надо было просто двигаться, ибо осознавать своё бессилие в бездействии – самое мучительное для физиологии человека.

Рядом с Хохловым появился экипаж. Лошадка шла шагом. Извозчик окликнул:

– Барин, куда ехать?

Алексей Фёдорович остановился, как громом поражённый. Он прежде и не подумал нанять карету. Похлопав себя по карманам, он понял, что забыл портмоне, и махнул рукой. Извозчик покатил дальше. Хохлов, очнувшись, снова начал мыслить, чего сейчас никак нельзя было себе позволить. Он припустил бегом, что было ему совсем не по чину. Но к чёрту! В несметном неразрешимом отчаянии ещё и не такое учудишь. Подумаешь, бегущий профессор!

Он пронёсся мимо безногого инвалида на тележке, не обратив на последнего никакого внимания. Инвалид был в состоянии мрачного отчаяния. Сегодня он проиграл свою жизнь бабе, это позорнее Портсмутского мирного договора, это самое постыдное, что с Георгием случилось за всю его жизнь. Он собирался топиться. Казалось бы, какие эмоции, когда твёрдо принято решение расквитаться с жизнью, лишь бы та не досталась женщине. Но его взбесил бегущий господин.

– Бежишь? На своих двоих? Горе какое! Долги да рога!

Георгий был несправедлив и непроницателен, как любой человек, считающий свою беду самой бедовой. То есть как любой человек в любой беде. Мальчишка-газетчик хотя и был при своей недавней беде, но то ли дети не склонны погрязать в осенних сумерках эгоизма, то ли в канун промозглой питерской зимы маленькому человеку нужен большой, даже если того укурили немного, то ли повеление присмотреть гнало его, бог весть. Юркой тенью, неотделимой от игры света фонарей со стволами деревьев, он крался за Георгием. Его опыт, которого иным благополучным не набрать до гробовой доски, подсказывал, что рыдать и хватать за рукава – ни к чему, кроме раздражения и тумачков, не приводит.

Если не можешь вытащить из беды силой, зови того, кто сильнее. Только успевай, пока беда не стала неминуемой!

У Кравченко с Белозерским сейчас была своя беда. Кровь ни одного из них не подходила Соне. Успех тайной операции зависел от пополнения штата. Но кому можно довериться? Кто не выдаст? Кто со всей самоотверженностью...

– Ася! – воскликнул Александр Николаевич и выскочил из сестринской. Владимир Сергеевич не успел и слова вставить.

Оставшись в одиночестве, фельдшер ещё больше нахмурился. Нет-нет, в преданности Анны Львовны не было ни единого сомнения. Если её кровь подойдёт, нельзя не перелить. Но она была ещё так молода, так чиста, и, в конце концов, брать кровь у совсем юной девушки, которая, пожалуй, не доедает количественно, не говоря уже о качестве пищи... Пользы здоровью сестры милосердия процедура не принесёт. Владимир Сергеевич менее всего на свете желал этого.

Но ретивый молодой ординатор уже тащил под локоток недоумевающую Асю с поста в сестринскую.

– Асенька! Правило Ландштейнера гласит: в организме человека антиген группы крови и антитела к нему никогда не сосуществуют! Мы с господином Кравченко не сосуществуем с Соней! Наша кровь её убьёт!

С этими словами он втолкнул ничего не понимающую Асю в помещение. Увидав Кравченко, она немного успокоилась. Присутствие Владимира Сергеевича обнадеживало. Ежели что совершалось при его участии и под его руководством, можно быть уверенной: совершается добро.

Соне было плохо и становилось хуже, несмотря на вводимый в вену физиологический раствор.

– Пульс ещё участился, наполнение совсем ослабло. Ввожу изотоничный хлорид натрия, но...

– Кровь людская – не водица! – возвестил Асе Белозерский.

Он уже закатал ей рукав, и она покорно доверилась. Потому что Александр Николаевич тоже был очень хороший, может быть даже лучше Владимира Сергеевича. Не в том смысле что добрее. Добрее Владимира Сергеевича никого нет. Просто лучше! Так же бывает, что человек лично для тебя может быть лучше доброго к тебе.

Пока у Аси путались соображения с чувствами, молодой ординатор набрал у неё кровь быстро и безболезненно, рука у него была на удивление легка. Это знали и пациенты, и персонал, и ворчливая Матрёна Ивановна, всегда крайне недовольная Белозерским, но отдававшая ему должное в мыслях своих. Для похвалы вслух при честном народе, считала, он ещё не дорос.

– Если повезёт, то четвёртый нам не понадобится! – сообщил Белозерский, сливая взятую у девушки кровь в пробирку. Закрыв горлышко большим пальцем, он с минуту встряхивал её с такой силой и страстью, что Асе казалось, сейчас стекло разлетится. Но нет, всего лишь кровь разделилась на две фракции. Каплю прозрачной субстанции, полученной из Асиной крови, Александр Николаевич смешал с каплей Сониной капиллярной крови. Мужчины устали в полученную смесь с таким чудовищным напряжением, будто от смешения крови Аси и Сони зависела судьба мира.

От этого и зависела судьба мира. Мира Сони. Её персональное «быть или не быть» решалось сейчас на простой белой тарелочке. Ася почему-то моментально взмокла, как мышь, застигнутая ливнем.

– Не сворачивается! – радостно возвестил Белозерский.

– Сыворотка не склеивает эритроциты «родственника по крови», который вовсе не обязательно кровный родственник! – пояснил Кравченко Асе, заметив, как та волнуется, не понимая, что творят ординатор и фельдшер.

– Что это значит?

Она с тревогой переводила взгляд с одного на другого.

– Что ты спасёшь Соне жизнь! – торжественно произнёс ординатор. – Укладку на перевивание!

Ася бросилась к инструментальному шкафу, безотчётно подчинившись распоряжению врача.

– Я готова всю отдать, пусть только она живёт!

– Хватит миллилитров трёхсот, – охладил пыл самопожертвования Владимир Сергеевич, мягко улыбнувшись Асе. – Позвольте, я сам. – Он забрал у неё укладку и стал налаживать систему.

– Но потом тебе придётся по древнему обычаю пить кровь умирающих гладиаторов!

На радостях к Белозерскому вернулось его залихватское мальчишество. Это было неуместно. Поймав взгляд Кравченко, Александр Николаевич тут же поправился:

– Шучу, конечно же! Я вас, Анна Львовна, непременно угощу непрожаренным бифштексом.

– Прошу вас! – Кравченко устроил Асю на стуле рядом с кушеткой. – Александр Николаевич!

Владимир Сергеевич и сам мог бы справиться с введением катетера в вену, но сейчас... Он не хотел делать сестре милосердия больно ни в каком виде – это раз. И два: у Белозерского действительно была та самая рука, у которой всё ладилось. Заслуги особой в этом не было, таким родился. Родился бы не в олигархическом наследственном состоянии, а в бедной мужицкой семье, стал бы знахарем, и шли бы о нём легенды, мол, может снять боль, проведя рукой по хворому месту. И легенды эти имели бы под собой платформу достоверности. Ибо много их, невидимых и пока необъяснённых энергий в мире. Энергия Александра Николаевича была хороша, добра и созидательна. Хотя он пока совершенно не понимал этого. В бедных мужицких семьях быстрее взрослеют и понимают раньше.

Асина кровь пошла в Сонино русло. Оставалось надеяться, что для живительного ручейка ещё не поздно.

Георгий подбирался к Неве, надеясь именно через неё проникнуть в тёмные воды Стикса. Самоубийство – смертный грех, поскольку никто не может противиться божьему расписанию и назначать конец страданий по собственной воле. А ведь свобода оной дадена. Другое дело – старое доброе язычество, где все равны как минимум после смерти, безо всяких «но» и «если».

Он уже подкатил к гранитным ступеням схода, отстегнул тележку, спустился, помогая себе мощными руками. Вздохнул. Хотел было по привычке помолиться и осенить себя крестным знаменем, да подумал, что пустое. И, сплюнув, кинулся в воду. Погрёб лихими саженьками, надеясь вскоре устать, да и холод – не тётка, а там уж отдаться на волю волн.

Георгий плыл, плыл, и ноги перестали болеть, и он ощущал, как сливается с мглой. Это лишало чувствования, мыслей, и, чёрт, это было нехорошо. Но и плохо не было. Наконец-то стало никак, и это уже было невообразимым блаженством.

Сильная ручища схватила Георгия за шиворот и поволокла назад в постылую жизнь. К этой-то сильной ручище и бросился мальчишка-газетчик, поняв, что намерения Георгия окончательны. Только Василий Петрович, при случае могущий и затрепачив отвесить, способен вытащить Георгия. Больше никому до калеки дела не было, мало ли Нева таких принимала. Редкие замешкавшиеся гуляки едва ли могли вообразить, что столь неурочное ночное омовение носит вовсе не ритуальный характер, а равно не последователи фейхтмейстера Огюстена Гризье вышли на воду в бурную погоду продемонстрировать искусство управляться со стихией.

Городовой не мешкая понёсся спасать бедолагу, скидывая на бегу фуражку и стаскивая сапоги. Вытащив Георгия на плиты, он, отфыркиваясь и выжимая одежду, для начала разра-

зился отборной бранью во всю ивановскую за всё про всё. Чуть успокоившись, заорал с гневным, но сострадательным русским весельем уже более адресно:

– До чёртиков допился! До греховного исхода! Врёшь! Вот тебе!

Он сунул Георгию в нос громадный кукиш.

– Вот на хрена ты, Василий Петрович? – с надрывом прошептал Георгий, вырванный из раскрывающихся объятий блаженного небытия.

– Это уж как мамаша с папашей назвали! – ответил городской неожиданно спокойно, продемонстрировав, что и в такой ситуации не утратил чувства юмора. Как любой славный человек.

Против воли Георгий ухмыльнулся.

– Нашёл клоуна! Я тебя сейчас вот в часть запру!

– На что я тебе там?!

– Мокрый весь из-за тебя, дурака! – Василий Петрович беззлобно пихнул Георгия в плечо. Конечно, он не собирался запирать несчастного инвалида, которого, признаться, жалел, а это чувство у русских чаще всего сильнее любви. Все знакомцы Георгия жалели его. Он опускался всё ниже и ниже, а его всё жалели и жалели. Вот и сейчас городской, натянув на мокрые волосы фуражку, пошарил в кармане и протянул калеке мелочь.

– На согреться хватит. Брось мне это! Господь не даёт больше положенного. В своё время должным чином концы отдашь. Не в моё дежурство, чтоб не мне бумаги писать! Мне на сегодня бумага – во! – он резанул себя ребром ладони по горлу.

Это был тот самый городской, из-под носа которого двое молодых мужчин утащили раненую девчонку. Так что бумаг ему на сегодня было действительно «во!».

В клинике дел тоже было по горло, и Владимир Сергеевич вынужден был оставить Соню и Асю на попечение Александра Николаевича. Неловко было давать ему указания, это было бы прямым нарушением формальной субординации, а морской офицер Кравченко считал неприемлемым нарушение оной ни при каких условиях, кроме исключительных. Вроде тех, когда старший по званию демонстрирует неадекватность до степени невозможности принятия им решений, или, как говорится в Малороссии, «с глузду зъихав». Александр Николаевич не выглядел сумасшедшим, он был сосредоточен и внимателен, и фельдшер Кравченко отправился помогать ординатору Концевичу, как и было предписано табелью о клинических рангах.

Доктор Белозерский коршуном контролировал клиническую ситуацию. Но поскольку пациенткой являлась Соня, сестра милосердия Ася совершенно выпала из-под его контроля. Он сидел к ней спиной и сосредоточенно выслушивал Сонины сердечные тоны, тестировал пульсацию крови на периферических и центральных сосудах, в шутку грозно выговаривая подопечной:

– Софья, отличный пульс! Приходите в себя! Вторая порция пошла. Больше из нашей прелестной сестры выкачивать непозволительно! Не будьте такой жадиной, маленькая шалунья! Помилосердствуйте!

Во время его взволнованной тирады у Сони дёрнулись веки. Девочка открыла глазки и, совсем не понимая, где она, жалобно и очень слабо прошептала:

– Пить! Хочу пить! Больно...

– Больно! Великолепно! Это просто прекрасно! Ася, пить!

Сестра милосердия, начавшая клевать носом от чудовищной слабости, вскочила с табурета по команде доктора, забывшего, что в вене у неё пункционная игла, и тут же упала в обморок. Александр Николаевич не успел окрикнуть:

– Я сам! Вы же... Сейчас отключу!

И надо было, чтобы именно в этот момент в сестринскую вернулся Владимир Сергеевич. Не сказав ни слова, он моментально бросился к Асе, хотя Белозерский уже ловко извлёк

иглу. Они столкнулись лбами. Взгляд Кравченко был исполнен грозной укоризны, а Александр Николаевич выглядел как нашкодивший щенок, искренне не понимающий, как так вышло.

- Стакан красного – и будет как новенькая!
- Люди – не расходный материал, Александр Николаевич.
- Пить!
- Соня же в себя пришла! – вскочил Белозерский.

Тут как тут объявилась Матрёна Ивановна, прошипевшая что-то вроде:

- Мужики дубовые, бояре липовые, девку увидали, про дела позабывали!

Но уточнять, то ли она сказала, никто бы не рискнул. Матрёна уже поила очнувшуюся Соню.

- Всё, милая! Хватит, родная! По чуть-чуть, как лекарство.

Поняв, что девочка в надёжных руках, Кравченко занялся Асей. Привёл в чувство, усадил на стул, проверил пульс и реакцию зрачков. Только после этого позволил себе высказать молодому ординатору по возможности нейтральным тоном, что давалось нелегко, да не особо и вышло:

- Врач – это многозадачность!
- Маленькая Соня негромко позвала:
- Дядя Володя!

Он немедленно подошёл к ней, прежде сердито указав Белозерскому взглядом на Асю. Александр Николаевич тут же принялся хлопотать о сестре милосердия, так бессовестно им позабытой в сражении за маленькую жизнь.

- Она знает нашего фельдшера? – тихо уточнил он у Аси.

– Конечно! Профессор Хохлов очень дружен с господином Кравченко. Бывает у него в доме запросто, и в доме его сестры, это все знают.

Ася смотрела на Александра Николаевича с удивлением. Казалось бы, с его наблюдательностью и пытливостью, он не мог не знать общеизвестного. Но он не знал. Он не слышал даже слишком громкого, потому что у него был весьма избирательный слух, и самый главный объект интереса – он сам.

– Барчонок горя не вкусит, пока своя вошь не укусит! – прошипела старшая сестра милосердия, и маленькая Сонечка отчего-то улыбнулась. Возможно, уютной Матрёне. Вероятно, дяде Володе, близкому, родному, с которым всегда безмятежно, пусть и редко она с ним виделась, но очень любила. Или же безотчётно улыбнулась жизни, не осознавая, что побывала на свидании со смертью. Соня пошевелилась, её тут же пронзила боль и страшное беспокойство. Она захныкала:

- Где мама? Где папочка? Где дядя Алёша? И где Пуня?

Сонечка чрезвычайно разволновалась. В особенности из-за неведомой Пуни, а рыдать ей позволить было никак нельзя, равно и переживать, потому ей в водичку капнули опия, и девочка уснула, не выпуская из цепких пальчиков ладонь дяди Володи.

- Я помогу Концевичу! Ой! Асе вина и чаю!

– Идите уже, Александр Николаевич! Я со всем разберусь! – скомандовала Матрёна Ивановна.

Это не было нарушением субординации. Не родилась ещё на свет та старшая сестра милосердия, которой бы не было дано право командовать молодыми ординаторами.

- Сообщите Хохлову! – напутствовал его Владимир Сергеевич.

Не то ещё и это забудет, разбираясь со своими чувствами.

С этого станется, хотя он и неплох как врач. И как человек. Может, и права народная мудрость: вшей ему не хватает. Откуда в особняке вшам взяться?!

## Глава X

Вкурительной комнате особняка Белозерских царила та прекрасная атмосфера, которая случается не от внешней роскоши, но от внутреннего сродства. Вера Игнатьевна забралась на диванчик с ногами, напротив неё, в кресле, сидел Николай Александрович. В руках у них было по бокалу прекрасного коньяка. Они курили. И даже молчать вместе было комфортно, что случается настолько редко между людьми, что и сравнить не с чем.

Догорали дрова в камине, дворецкий поворошил золу кочергой.

– Василий Андреевич! Ты иди, брат! Я ещё способен кофе налить и очаг обслужить, ежели будет надо!

Хозяин говорил как можно мягче, но скрытое раздражение, подавляемое последние полчаса, всё равно прорывалось. Батлер распрямился, бросил выразительный взгляд на барина, подчёркнуто поклонился и вышел, чеканя шаг. Его прямая широкая спина была самой воплощение незаслуженной обиды. Николай Александрович почувствовал себя неловко и бросил вслед Василию покаянный взгляд. В некотором смысле почтенный господин был рабом собственного слуги. Вера улыбнулась.

– Любопытен, дьявол! – усмехнулся Белозерский. – Но предан, как сто тысяч чертей! Он Сашке и мамка был, и нянька, и дядька.

– Где ваша жена?

– Где все ангелы. На небесах.

Николай Александрович привычно перекрестился. Смерть жены давно перестала быть трагедией. Раны, мнилось временами, зарубцевались. Не больше раза в год он вскакивал по ночам в поту, в ярости, с желанием задушить комок плоти размером с кошку, убивший свою мать и растоптавший его жизнь. После таких кошмаров первым чувством было покаяние. Но не перед некогда страстно любимой женщиной, которая за четверть века успела стать образом, а перед сыном, который за двадцать пять лет стал красивым умным мужчиной, его продолжением.

– Простите мою бестактность! – сказала Вера и, поднявшись, подлила коньяку гостеприимному хозяину и себе.

– Вы не могли знать!

Он кивнул в благодарность. С любой другой дамой он бы немедля встал, приняв на себя мужскую функцию «налить и подать». Но ни одна дама прежде не делала этого так легко и естественно, как Вера Игнатьевна. Дамы, как правило, ожидали, намекали, косили взглядом, даже если эти дамы были вольные и любящие выпить в мужском обществе. В княгине Данзайр не было кокетства. Вера Игнатьевна была так полна природного женского обаяния, что это лишало её необходимости лишней раз подчёркивать, что она – женщина. Она была женщиной по сути своей, и никакой мужской костюм, повадка и абсолютно мужская профессия не могли этого ни скрыть, ни изменить.

– Я зачастую элегантна, как полевая пушка! – извинилась Вера.

– О, нет, нет! – с живостью возразил Николай Александрович. – Вы... Моя жена была такой. Прямые естественные манеры. Живой характер. Порыв.

Внезапно он замолчал. Вера увидела, как лицо сильного весёлого открытого человека исказила чудовищная гримаса страдания. Скорби по бессилию. Он проглотил комок, справился с собой, только как-то весь обмяк. Она не торопила его. Не спрашивала.

– Роды. Доктор что-то говорит – я в мороке. Кинулся на него, хорошо Василий тогда здоров был, как Микула Селянинович! Сашку возненавидел! Его Василий и окрестил. Как покойница хотела, в честь наших отцов, она тоже Александровна... была.

Ему всё ещё не давался этот простой глагол, утверждающий окончательную завершённость прошедшего, невозвратность. Что толку говорить: пусть нет – но была же! Её никогда больше не будет, никакие воспоминания и фотографии, никакие свидетельства не вернут её, не будет больше никогда «она есть», только «была». И любви уже нет, наверное. Только пылающая острая боль, негасимая самым признанным лекарем – временем.

Вера не стала нести пошлые благоглупости. Она бы скорее отрезала себе язык, чем стала портить словами подобную исповедь. Быть конфидентом такого человека – высочайшая честь, и её следует принимать в тишине.

– Раздавить хотел! Сашку-то! – Николай Александрович потрянул головой, сбрасывая самую память о таком чудовищном желании, пусть сиюминутном. – Сашка, ишь! У какой-то розовой колбасы ещё и имени положено быть!

Последнее произнеслось с нежностью, с любовью. Нежностью и любовью настоящего времени.

Он рассмеялся. И тут же сконфузился.

– Вот ведь! Не знаю, что это я... Мы с вами едва познакомились, а кажется, будто знаю вас всю жизнь.

– Есть у меня такое порочное свойство, – улыбнулась Вера. – Да и вы его не чужды. Мне с вами тоже удивительно просто. Так что будем считать, что мы порочны в равной степени!

Она подошла к нему, поцеловала в щёку, он уткнулся ей в руку, как маленький, хотя был старше её на добрых пятнадцать лет. Ладонь стала мокрой. Он плакал.

– Страшно терять любимого человека.

Крепкий купчина Белозерский всхлипнул и, сильнее прижавшись к её руке, тихо ответил Вере, стараясь не сорваться:

– Бессилие страшнее. Она умирает – и ты ничего не можешь, ничего!

Он поднял мокрое лицо.

– Княгиня, прошу вас! Всё! Отпустило!

Они улыбнулись друг другу, и он выпустил её ладонь.

– Я пойду, Николай Александрович. У меня есть незаконченное дело. Не скажу, что человек мною любим, но спасти его ещё можно.

Белозерский ревниво нахмурил брови. Он не хотел отпускать нового друга к какому-то неизвестному человеку, тем более к такому: «не скажу, что любим». Но не скажу, что и нет?

– Вот же сразу видно собственника! – расхохоталась Вера. – Этот человек никак не помешает нашей дружбе. Как не помешает ей, например, Василий Андреевич. Не дай бог, не зовите его и не провожайте! Уйду непарадным входом. Я влюбилась в вашего батлера с первого взгляда, но его...

– ... бывает слишком много!

Вера снова поцеловала его в щёку и сказала:

– Буду захаживать запросто!

Она быстро вышла, и очень хорошо, потому что зрелый мужчина положения господина Белозерского не может и не должен демонстрировать мальчишеский восторг ни в коем случае, никому и никогда. Исключая разве победу в сете тенниса. Теннису Николай Александрович учился в клубе самого Артура Давыдовича Макферсона! Сперва, конечно, Сашку отдал. Сынишка в третьем году даже участвовал в Первом чемпионате Санкт-Петербурга на кортах Крестовского лаун-теннис клуба. Потом и сам Николай Александрович втянулся. Жаль, участвовать в состязаниях ни разу не решился, всё-таки солидный человек! Сашка в Стокгольме в том году мог поехать, на международный турнир, но у него экзамены были. Особы царской крови отставили важные дела и участвовали, а он, дурак, вишь, экзамены лекарские отодвинуть не захотел!

Вере удалось проскользнуть чёрным ходом незамеченной, что в доме, где правил Василий Андреевич, было теоретически невозможно, но практически удалось. В тот момент, когда княгиня кралась задами, в парадную дверь трезвонили и одновременно колотили, по всей вероятности ногами, с такой силой и страстью, что вся прислуга ринулась туда. Но открывать не торопилась, ожидая своего повелителя.

– Что такое?! – возмутился дворецкий, открывая дверь по обыкновению с достоинством.

– Где она? – вместо приветствия воскликнул профессор Хохлов.

– Доброй ночи, Алексей Фёдорович. Позвольте, я доложу...

– Извольте-позвольте! Ох, оставьте уже!

Бесцеремонно отодвинув Василия, Хохлов понёсся наверх, перепрыгивая через две ступени. Будь это не профессор, давно известный в семействе, Василий Андреевич немедля кинулся бы за ним и зафиксировал со всем должным почтением, но гнаться эдаким манером за Алексеем Фёдоровичем на виду у прислуги Василий Андреевич не мог себе позволить.

– Брысь! Дел нет?! – рявкнул он на всех.

И вот когда стайка разлетелась, тут уж он припустил следом за профессором, беря и по три ступени сходу. В длинном коридоре они сперва сравнялись, а затем Василий Андреевич вырвался вперёд и со всей возможной в данной ситуации вежливостью выкрикнул:

– В курительную!

Обошёл Алексея Фёдоровича с солидным преимуществом, успел добежать первым и, распахнув двери, торжественно, хотя и с одышкой, объявил:

– Профессор Хохлов Алексей Фёдорович изволили... с поздним визитом!

Никто бы не смог заподозрить Василия в укоризне.

Старший Белозерский головы не повернул. Он пребывал в благодушном расположении духа, в беспредметной мечтательности, какая бывает в детстве после славного проведенного дня на речке, в лесу, на природе – в общем, когда весь день все были счастливы, и ничем не омрачённым вечером дитя ложится в постель и просит нянюшку и боженку, чтобы так было всегда. Но поскольку он был не дитя, то попросту расположился в кресле у камина, вытянув длинные ноги, с бокалом коньяка и, попыхивая отменной сигарой, созерцал огонь. Да, он действительно был способен сам подкинуть дров. И Василий Андреевич сообразил, что сейчас не тот момент, чтобы пенять хозяину.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.